



**ИЗ ДОМА РАБСТВА**

**И. ДЕГЕН**

*И. Деген*

**ИЗ ДОМА РАБСТВА**



Издательство "Мория"

Израиль. 1986

**Out oft the House of Bondage**  
**Y. Degen**

**© Все права сохраняются за автором**



**ЛЮСЕ**



## ЕЩЕ НЕ ОСОЗНАВШИЙ СЕБЯ ЕВРЕЕМ

На левом берегу Днестра, в среднем его течении раскинулось Подолье — краса Украины (емкое и точное определение Леси Украинки). Красивейшие ландшафты, благодатная земля, мягкий здоровый климат, плодородные поля, сады и виноградники, сосновые и лиственные леса. В многочисленных местечках на этой земле спокон веков жили евреи. Жили обособленно, своей духовной жизнью, своим укладом, своими буднями и праздниками. Без них Подолье потеряло бы свою самобытность (сейчас уже теряет, хотя еще существуют жалкие остатки евреев в этих краях). Жили евреи в подольских местечках, не растворяясь, не ассимилируясь, оплакивая убитых и замученных погромщиками Богдана Хмельницкого, гайдамаками, деникинцами и петлюровцами, бандами всех цветов и оттенков и даже доблестными национальными (украинскими) формированиями Красной армии — типа Богунского и Таращанского полка.

Административным, экономическим и культурным центром значительной части Подолья — от Ямполья и Шаргорода до Бара и Жмеринки — был Могилев-Подольский. Железнодорожная станция, связывающая Украину с Бессарабией, оживленная торговля отборной пшеницей на экспорт (да-да, царская Россия с мелким отсталым крестьянским хозяйством экспортировала зерно, в отличие от великого и могучего

Советского Союза с самыми передовыми в мире совхозами и колхозами), мукомольни, маслобойки, винокурни, сахарные заводы, кустарный промысел — все это делало Могилев-Подольский городом деятельным и богатым — "раем для евреев", как говорили старожилы.

Революция, активное и видное место в которой занимали еврей-могилевчане, значительно подорвала экономическую жизнь города, заменив ее жизнью политической и военной. Днестр стал границей между СССР и Румынией. Могилев-Подольский — пограничным городом с большим пограничным отрядом. Здесь обосновался штаб стрелкового корпуса и штаб укрепрайона. Многочисленные пограничные и стрелковые части расположились в самом городе и в окрестных его селах.

Вопрос о дискриминации еврейского меньшинства (почему меньшинства, если в Могилеве-Подольском и в местечках евреи составляли большинство, а кое-где — подавляющее большинство населения?) стал при советской власти не актуальным. Большая и важная улица города была названа именем еврея Ермана, одного из создателей советской власти в Могилеве-Подольском. Герои-евреи, погибшие в боях за эту власть, были похоронены не на кладбище, а на главной площади города. Первый секретарь горкома КП/б/Украины, председатель городского совета, заведующий коммунальным хозяйством и прочия, и прочия, и прочия были евреями. Директорами заводов — сахарных, винокуренных, консервного, лесопильного — были евреи. В начале 30-х годов в Могилеве-Подольском начал функционировать чугунно-литейный завод. Директором его был еврей Кордон, вернувшийся на эту должность и после войны.

Забегая вперед, замечу, что после войны Кордон был единственным в городе евреем на крупной административной должности, да и то лишь потому, что завод подчинялся непосредственно Москве, а продук-

ция его — запорные вентили для труб большого диаметра — имела важное хозяйственное значение. В этом случае казалось рискованным убрать отличного администратора во имя чистоты нац. кадров. Кто знает, стопроцентный нееврей мог попросту пропить завод. Но мне доподлинно известно, что Винницкий обком партии не раз требовал у Москвы снятия этого жида с должности директора.

Евреи были не только администраторами, но и производителями. Они составляли значительный процент рабочих на упомянутых заводах. А многочисленные артели — металлистов, столяров, краснодеревщиков, портных, сапожников, шапошников, меховщиков — состояли исключительно из евреев.

Отлично помню Могилев-Подольский конца НЭП'а. 1929 год. Мне четыре года. Мама послала меня в пекарню за хлебом. Я мчусь, зажав в кулаке двухкопечную монету. Возвращаюсь с огромной высокой пружинящей халой, перепоясанной по всему диаметру блестящим запеченным валиком. Как вкусно он хрустит на зубах! По пути домой съедена половина диаметра.

Помню постепенно иссякающее изобилие тех годов. Шумный рынок, на который я иногда шел с мамой. Ряды молочные, овощные, фруктовые, мясные. Горы арбузов и дынь. Жуткое зрелище — резник забивает птицу. Теряя кровь, курица бьется в тесноте небольшого цементированного дворика. Старые еврейки, — руки в крови и пухе, — ошпиывают перья.

Невдалеке от рынка большая синагога. В отличие от других, ее называют шулэ. Утро. Вероятно, суббота. В ермолках, с накинутыми на плечи талесами, евреи идут в синагогу. У нас дома тоже хранится талес. Не знаю, был ли верующим мой отец. Он умер, когда мне исполнилось три года. Мама была воинствующей атеисткой. Но вместе с тремя Георгиевскими крестами отца хранился талес и тфилин. Бог простит меня, несмышленьша, за то, что я выпотрошил содержимое

тфилин и мезузот, пытаюсь понять, что оно такое. Уже умея читать и по-украински, и по-русски, я не знал значения ни одной буквы алфавита, завещанного мне предками. Тайком от мамы я иногда убегал в синагогу. Я не понимал ни слова, но мне нравилось пение кантора.

И еще мне нравилось слушать сказки, которые рассказывал старый хасид Лейбеле дер мешигинер. Так называли его за то, что он не разрешал женщине прикоснуться к себе. Подаяния из рук женщины Лейбеле не принимал. Она должна была положить его на тротуар, на камень, на тумбу. Спустя много лет я узнал, что сказки Лейбеле, старого хасида с аккуратной бородой и длинными пейсами, хасида с добрыми печальными глазами, в вечной широкополой черной шляпе, в черном лапсердаке, в черных чулках до колена, что сказки эти — куски нашей истории, куски Танаха. Впервые увидев в Иерусалиме евреев с пейсами, я испытал щемящее и теплое чувство встречи со своим далеким детством, я вспомнил доброго старого хасида Лейбеле дер мешигинер (благославенна память его).

Заговорил я об избытке конца НЭП'а и развернулась дальше, по ассоциации, цепочка воспоминаний лишь потому, что написал фразу о евреях-ремесленниках. Тогда, в начале тридцатых годов, они еще были кустарями. Недалеко от нас жил шапошник Политман. С каким интересом я рассматривал натянутые на деревянные колодки зеленые фуражки пограничников с лакированными черными козырьками! Думаю, что даже до самого Политмана не дошел ужасный символ — форменные фуражки на деревянных чурбаках. Не хочу ничего дурного сказать о пограничниках. Но ведь эти фуражки были также формой ГПУ. Точно такие же козырьки были потом на фуражках офицеров гестапо. Впрочем, Политман не удостоился быть убитым обладателями черных лакированных козырьков. Его убили рядовые ээсовцы, а, может быть, даже



кто-то из местного населения. Я не знаю.

О том, что советская власть разоряет кустарей, стараясь загнать их в артели, я впервые услышал в доме шляпницы тети Розы Гольдштейн. Они жили напротив нас. Я любил бывать в их доме. Сын тети Розы, Абраша, старше меня на семь лет, был очень умным и знал абсолютно все на свете. Это совсем уж невероятно, но Абраша был даже умнее советской власти, потому что за три месяца до знаменитого наводнения 1932 года он рассказал мне, что наводнение будет ужасным, что надо приготовить много лодок и плотов и увести людей на Озаринецкие горы. Советская власть этого, по-видимому, не знала. Как иначе можно объяснить гибель десятков, а, может быть, и сотен людей, самого дорогого капитала советской власти?

И в других домах я слышал, что кустарей сгоняют в артели. Всюду произносили страшное слово — "финотдел". И хотя все могилевские кустари были евреями, никто никогда не произнес слово "антисемитизм". Вообще я его впервые услышал только во время войны. Оно и правильно, что кустарей уничтожил не антисемитизм, а финотдел, так как финотдел уничтожал в эту же пору и крестьян, не евреев, сгоняя их в колхозы. А что такое колхоз мы вскоре узнали.

Исчезли не только халы с поджаристым валиком по диаметру. Исчез просто хлеб. По три-четыре часа я выстаивал в жуткой очереди, чтобы получить по карточке липкий кусок маля и макуху. На улицах когда-то изобильного Могилева-Подольского на каждом шагу я натывался на трупы умерших от голода. Их некому было убирать. В один из страшных дней той весны, семилетний мальчик — я чудом вырвался из рук людей, собиравшихся съесть меня. Но это уже не тема моих воспоминаний.

Наводнение и голод отодвинулись в прошлое. И уже бессарабские евреи с того, с правого берега Днестра, отгоняемые румынскими пограничниками, с завистью смотрели на праздничные колонны могилев-

ских евреев-артельщиков, на освобожденный рабочий класс. А рабочий класс, уже не подыхающий от голода, но еще не наевшийся досыта, вышагивал, распевая только что появившуюся песню композитора-еврея: "Я другой такой страны не знаю..." И кларнет клезмера, скромного лудильщика из артели металлистов, умудрялся даже в эту мажорную мелодию вплести еврейскую грустинку, как, впрочем, вплетал ее даже в "Фрейлехс" на еврейской свадьбе.

В рядах демонстрантов были и колхозники окраинного городского колхоза, значительную часть которых составляли евреи. А вот в селе Яруга колхоз имени Петровского был целиком еврейским.

Многих репатриантов из Советского Союза поражает сельское хозяйство Израиля. Мне приходилось слышать восторженно-удивленные возгласы: "Еврей-интеллектуал — это понятно. Еврей-рабочий, наконец. Но еврей-земледелец?!" Такую фразу может произнести кто угодно, только не житель Могилева-Подольского. Я слышал о блестящих еврейских колхозах в Крыму, под Джанкоем. Но о еврейском колхозе в селе Яруга я не слышал, я знаю его.

Мне казалось, что в этих воспоминаниях не будет места цифрам. И все-таки я отступлю от собственных намерений, иначе трудно представить себе, что такое еврейский колхоз в селе Яруга. На трудодень в 1940 году колхозник получал 2,5 кг. пшеницы, 2 кг. винограда, 1 кг. сахара и 20 рублей деньгами. В среднем в месяц колхозник получал только деньгами около 750 рублей (для сравнения: зарплата врача в ту пору была 300—350 рублей в месяц). И еще. Любой ученый, ставя эксперимент, цель которого — выяснение какого-либо неизвестного фактора, тут же в таких же условиях, но без этого фактора проводит контрольный опыт. Жизнь провела такой чистый эксперимент в селе Яруга.

Что такое еврей земледелец? В колхозе имени Петровского — только еврей (опыт). В колхозе имени

Хрущева — только украинцы (контроль). Рядом расположенные поля и плантации, примыкающие друг к другу сады и виноградники. Одна и та же почва, одно и то же солнце, одни и те же дожди. В колхозе имени Петровского не просто изобилие, а богатство. В колхозе имени Хрущева нищета и полуголодное существование. В колхозе имени Петровского, кроме натуральной — да еще какой! — денежная оплата трудодня. В колхозе имени Хрущева о деньгах даже не мечтали. Зерна бы хоть немного наскрести на трудодень.

И снова, забегая вперед. После войны уцелевшие евреи села Яруга воссоздали свой колхоз. Партийное начальство — Винницкий обком КП/б/ Украины — "демократическими" методами пыталось слить оба колхоза в один. Колхоз-миллионер и нищий колхоз. Евреи всячески сопротивлялись. Подчиняясь "демократическому" нажиму, по приказу обкома партии евреи строили за свой счет павильон — дорогостоящий павильон — на областной сельско-хозяйственной выставке, выплачивали вдруг возникающие непонятные налоги, огромные деньги отдавали на государственные займы и все-таки умудрялись жить зажиточно. Умудрялись сдавать на сахарные заводы рекордные урожаи свеклы с тщательно ухоженных плантаций. (В колхозе имени Хрущева, страшась тюрьмы за каждый украденный корень, все-таки воровали чахлую свеклу с заросших бурьяном плантаций и гнали из нее вонючий самогон "Три бурячка".)

Мой добрый знакомый из колхоза имени Хрущева говорил мне: "Ну и жиды (он и не помышлял обидеть меня лично; разговор происходил, естественно, после войны; до войны я только однажды слышал слово "жид"; я еще расскажу об этом), ну и скупердяи! Паданцу не дадут сгнить. Собирают, делают яблочное вино и продают в Москве и в Ленинграде".

Мне легко было опровергнуть эту ложь. В Москве и в Ленинграде колхоз имени Петровского действительно продавал вино, но какое! Из изумительного

могилевского "адигатэ". Продавал изысканные столовые сорта винограда: "адмирал", "дамские пальчики", "мускат", "воловий глаз". Продавал неповторимый по вкусу "французский ранет". Продавал парниковые огурцы и помидоры. Продавал раннюю клубнику. А паданцам действительно не давали сгнить, собирая их и скармливая скоту. Да что говорить! Евреи-колхозники не уступали евреям-интеллектуалам, потому что их основной силой в галуте был интеллект.

Что касается интеллектуалов, то надо ли удивляться тому, что в городе, большую часть населения которого составляли евреи, большинство интеллектуалов было евреями. Врачи, — доктор Рейф и доктор Фиш, доктор Кауфман и доктор Шейнфельд, доктор Бланк и доктор Нахманович, доктор Пхор и доктор Штерн, доктор... Зачем нужны монотонные перечисления, если значительно проще назвать доктора Осиновского — единственного могилевского врача-нееврея.

Незадолго до отъезда в Израиль я приехал попрощаться с Могилевом-Подольским, с могилой отца, со своим детством. В очень большом врачебном коллективе врачей-евреев можно пересчитать по пальцам одной руки, да и то, кажется, останется свободный палец.

Живет в городе, родившийся там мой однокурсник. Но работает он в другой республике — в Молдавской ССР, в селе Атаки. Каждый день очень больной человек, он по мосту переходит через Днестр в другую республику, где милостиво соизволили принять на работу еврея. В родном Могилеве-Подольском для него не нашлось места.

Кстати, за несколько дней до моего отъезда он был в Киеве. Позвонил мне из автомата. Не назваля, уверенный в том, что я узнаю его голос. Конечно, я узнал. Он пожелал мне счастья. Извинился, что не может встретиться со мной. Боялся. Я понимал и не осуждал.

Здесь, в Израиле, я встречаю многих, похвальных

ся своим героизмом там, в Советском Союзе. Чаще всего это просто гипертрофированное представление о своих поступках. А иногда похваляющиеся просто забывают, что героями они стали, уже решив уехать в Израиль, уже переступив невидимую черту, позволяющую им отрешиться от страха, естественного состояния любого гражданина самой демократичной в мире страны. Эта случайная ассоциация не имеет непосредственного отношения к вопросу о евреях — людях интеллигентных профессий.

В украинской школе, в которой я учился, не менее половины учителей были евреями. Мне трудно сейчас уверять, что и другие школы в этом отношении не отличались от нашей. Я вспоминаю только выдающихся учителей из других школ. И здесь процент евреев был примерно таким же. Но ведь из одиннадцати могилевских школ три были еврейскими (они просуществовали, кажется, до 1938 года. Не знаю, почему их ликвидировали. Видно, уже в ту пору они кому-то мешали. Во всяком случае, всегда можно было сослаться на мою еврейскую маму, отдавшую своего еврейского сына в украинскую школу. Отдавшую добровольно, по собственному побуждению).

Уровень преподавания в провинциальном городе был высоким. Советская наука (особенно физика, математика, радиоэлектроника) получила немало выдающихся ученых — исключительно евреев, воспитанных этими учителями. А скольких могла бы еще получить, если бы они не оказались в списках погибших в боях за Советскую родину!

Почему мама отдала меня в украинскую школу? Большинство моих сверстников, живших по соседству, учились в еврейской школе. Уже потом, после ликвидации еврейских школ, мы учились в одном классе. На первых порах они несколько хуже успевали по украинскому и русскому языкам и литературе. Но только на первых порах. А по другим предметам? Чуть было не написал, что они были сильнее по мате-

матике, физике, химии и биологии. Но вспомнил, что и среди ветеранов нашего класса было немало сильных по этим предметам. А почему бы и нет? Сейчас я восстановил список моих одноклассников. Из тридцати учеников — четыре нееврея. Нормальная украинская школа. В 1-й и в 49-й железнодорожных школах это соотношение несколько нарушено, потому что в прилегающих к ним районах жили не только евреи. В 9-й школе, единственной русской в городе, действительно еврейское меньшинство. Здесь учились в основном дети военнослужащих, постоянно менявших место жительства.

Могу ли я что-нибудь вспомнить об антогонизме между учениками евреями и неевреями? Не знаю. Звучит это как-то странно, но это правда. "Кто же мы такие? — спрашивает М. Алигер в своей поэме. — Мы — евреи. Как ты это смела позабыть?! Я сама не знаю, как я смела. Было так безоблачно вокруг. Я об этом думать не успела. С детства было как-то недосуг".

Вопрос о безоблачности, мягко выражаясь, несколько проблематичен. Но действительно в ту пору мне лично было недосуг думать о своем еврействе. Мама была неверующей. В доме разговаривали исключительно на русском языке. Еврейские праздники не соблюдались. Правда, еще в начале февраля мама покупала гусей на пасху. Гусей откармливали, и перед пасхой в доме появлялись гривалех — вкуснейшие шкварки. Но с детства любимой мацой угощали меня соседи. Бывала в нашем доме еда, которую мне не приходилось есть в домах моих украинских и русских товарищей — есекфлейш и шейка, чулн и гефилте фиш, штрудель и флудн. Мама не ела свинины, но позволяла себе поджаривать мясо на сливочном масле. Будучи атеисткой, она все-таки постила в Йом-Кипур. Было что-то неуловимое, отличающее наш дом от домов неевреев. Но этого было явно недостаточно, чтобы осознать себя евреем, тем более, осознать себя каким-то особенным, из ряда вон выходящим. А именно

это ощущение появилось у меня на фронте, ощущение неудобной исключительности. Не было его у моих друзей армян, грузин, татарина, удмурта. Не было у них этого чувства социального дискомфорта, желания раствориться в русском большинстве или, наоборот, в знак протеста проявить свою исключительность.

Не знаю, как в других городах, но в Могилеве-Подольском бытовала идиотская традиция деревни — одна улица стеной шла на другую. Мы воевали. Наша улица с прилегающими переулками воевала против одной из окраинных улиц. Драки были жестокими. После боев "воины" нередко попадали в больницу с серьезными повреждениями и даже с проломанными черепами. Я вспоминаю прославленных бойцов нашей команды: Янкеле-Гонев, Эйлах-Пишер, Пейся-Лошек, Юдка-Фресер, Хаим-Шнорер... Не знаю, был ли хотя бы один боец с подобным достойным именем в команде наших противников, потому что наш боевой клич — "Убивайте гоим!" — имел совершенно определенный смысл, неосознаваемый мной в ту пору.

Однажды летом наша команда собралась в лес. Недалеко от села на нас напали пастушки с боевым кличем "Бей жидов!". Несмотря на превосходящие силы противника, мы вступили в бой. Юдка-Фресер потом доказывал, что я первый овладел боевым оружием пастушков — длинной нагайкой, плетеной из сыромятной кожи. Этой нагайкой я хлестал немилосердно, оставляя кровавые рубцы на лицах. Пастушки обратились в бегство, а мы подоили коров в свои котелки и в полном смысле слова упивались победой. Но и в том случае слово "жид" воспринималось мною только как оскорбительная кличка горожан, но, отнюдь, не евреев. Вообще в ту пору мир делился не по национальным признакам, а только на красных и белых. Мы, разумеется, были красными.

Кумиром нашим был Чапаев, только что пришедший к нам с экрана. Уже значительно позже от нашего профессора, заведующего кафедрой госпитальной хи-

рургии А.Е. Мангейма, бывшего начсандивом у Чапаева, мы узнали, что легендарный комдив был матерым антисемитом. Но тогда в нашем лексиконе еще не было этого слова и не было еще такого понятия в нашем сознании.

Быть в команде Чапаевым хоть на день считалось великой привилегией. Даже ординарцем Чапаева — Петькой. И когда нам представилась возможность не только лицезреть живого Петьку, но и кувыркатся с ним на песке на берегу Днестра, счастью нашему не было предела. Артист Леонид Кмит, игравший Петьку в фильме "Чапаев", приехал в Могилев-Подольский на гастроли со своим театром КОВО (Киевского Особого Военного Округа). Вообще в наш город на гастроли приезжали отличные театральные коллективы.

Слово "театр" для меня обозначало только здание, потому что просто театральное помещение в городе без артистов, без режиссера называлось театром имени Луначарского. Правда, были там самодеятельные коллективы — украинский, польский и еврейский. Еврейский заслуженно считался самым лучшим, потому что, если украинский коллектив за все время поставил только "Запорожца за Дунаем" и "Наталку-полтавку", то еврейский — в каждом сезоне ставил не менее пяти спектаклей. До сих пор я помню состояние неземной восторженности, с которым я выходил из театра после "Уриеля Акосты", "Колдуньи", "Цвей кунилемелех", "Гершеле Острополер".

Кроме самодеятельного еврейского театра, был еще отличный еврейский хор и самодеятельность 3-й, 4-й и 6-й еврейских школ. И уже после их ликвидации (после закрытия еврейских школ и незадолго до прекращения всякой еврейской самодеятельности) благодарный хор распевал: "Ло мир тринкен а лехаим — ай-яй-я-яй-я — фар дем либер фар дем Сталин — ай-яй-я-яй-я".

Надо сказать, что песен было много в ту прекрасную пору. Вероятно, песни нужны были, чтобы заглушить



крики пытаемых и выстрелы палачей. Впрочем, все мне тогда казалось правильным. "Если враг не сдается, его уничтожают". Враги народа подлежали уничтожению. Иногда, правда, на мгновение закрадывалось в детскую душу сомнение. Например, как мог оказаться врагом народа отец моей подружки Розы, комбриг Сибиряков (так я и не узнал его истинной еврейской фамилии), герой гражданской войны, награжденный орденом Красного знамени.

Я уже писал, что почти вся партийно-административная верхушка Могилева-Подольского сплошь состояла из евреев. Все они были расстреляны в 1937—1939 годах. Перед самой войной в горкоме партии и в прочих руководящих органах евреев было уже несравнимо меньше, чем прежде. Поубавилось их количество и среди высших командиров Красной армии.

Особое пограничное положение Могилева-Подольского дало мне возможность и раньше, буквально чуть ли не накануне их уничтожения видеть Якира, Гамарника и других с четырьмя и тремя ромбами на петлицах. Тогда же был расстрелян и комкор Раудмиц, штаб корпуса которого находился в нашем городе. В доме Раудмица я бывал, любил его, восторгался его орденами и ромбами. Причастность Раудмица к врагам народа на секунду поколебала уверенность детской души в правоте дела товарища Сталина, как и причастность к врагам народа комбрига Сибирякова. Но только на секунду. Вернее, на мгновение.

Уже значительно позже я узнал, что Раудмиц — не еврей. Узнал, когда я уже осознал себя евреем, когда меня заинтересовала судьба моего народа, его история, когда я высчитывал процент евреев от лауреатов Нобелевской премии до врагов народа. Высокий процент. Но если процент евреев был высоким в Могилеве-Подольском, как и на всем Подолье, по независящим от них причинам, если там они вынуждены были поселиться, спасаясь от уничтожения (увы, оно и там постигло их...), то кто же заставил их быть в первых

рядах партии большевиков, на высоких постах администраторов и командиров Красной армии, чтобы создать такой высокий процент евреев — врагов народа? Были бы они лучше друзьями своего народа, еврейского народа. Но к этому выводу я пришел уже значительно позже.

## "ЕВРЕИ НЕ ВОЕВАЛИ"

Начало войны явилось для меня полной неожиданностью. Нет, не то, что война началась. Еще в детском садике я знал, что будет война. Военные игры, военные песни, военные кинофильмы. Мое поколение было воспитано в духе милитаризма. К началу войны мы, мальчишки из старших классов, умели стрелять из всех видов стрелкового оружия. Это было обычным, как и тяга ребят в военные училища. Бои на Китайско-Восточной железной дороге. Хасан. Испания. Халкин-Гол. Финляндия. Героизм и победы. Культ самопожертвования во имя Родины. Мы завидовали тем, кто уже воевал. Мы считали себя обделенными возможностью подвига. Нам хотелось, чтобы война началась именно тогда, когда мы сможем принять в ней участие. Мы знали, что это будет мгновенная победоносная война, что Красная армия в течение нескольких дней раздавит любого противника. "И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом".

Некоторые сомнения, правда, появились во время войны с Финляндией. Но ведь там была непреодолимая линия Маннергейма, лютая зима, "кукушки" — снайперы, сидящие на деревьях. И то победили. И есть уже опыт. Так что нам сейчас ничего не мешает "малой кровью, могучим ударом".

И вдруг... Красная армия не на вражьей земле, а

стремительно теряет свою землю. И в советском небе немецкие самолеты. И делают, что хотят. И двойка "мессершмидтов" легко справляется с девяткой "ищачков".

Я ничего не мог понять.

Это было 15 мая 1941 года. Только что мы, ученики 8–10 классов проводили в армию нашего любимого учителя истории. Мой друг Шулим — он был на класс старше меня — и я отстали от компании. Огромное красное солнце опускалось на холмы за Днестром. Шулим сказал: "Это к войне". Я возразил ему, напомнив о договоре с Германией. Шулим рассмеялся. Он говорил долго и зло. О фашизме. Об антисемитизме в Германии. О "хрустальной ночи". О беспринципности и попустительстве Советского Союза. Какие антифашистские фильмы мы смотрели еще совсем недавно! "Карл Бруннер", "Профессор Мамлок", "Болотные солдаты"... Где сейчас эти фильмы? Расплата будет страшной. "Не знаю, — сказал Шулим, — мистика это, или какой-то объективный исторический показатель, но кто идет против евреев, в конце концов кончает плохо". Меня возмущали эти антисоветские речи. Даже в устах моего друга. Я обратил внимание Шулима на непоследовательность его пророчеств. Мы поспорили, погорячились и разругались.

Через месяц, 15 июня, гордясь своей правотой, я принес Шуле "Правду", в которой было опубликовано заявление ТАСС о провокационных сообщениях и о том, что отношения между СССР и Германией по-прежнему дружественные, соответствующие букве и духу заключенного договора.

Шулим все еще был обижен на меня, не собиравшись мириться и, что совсем противоречило его интеллигентности, сказал: "А этим заявлением можешь потереться".

Ровно через неделю началась война. В тот же день я обегал почти всех мальчишек из двух 9-х классов — нашего и параллельного, объясняя, что мы, 16–17-лет-

ние комсомольцы обязаны сформировать взвод добровольцев. Пошел я и к своему другу Шуле, хотя он уже окончил школу, а по возрасту подлежал призыву через несколько месяцев. Очень хотелось, чтобы Шулим был в нашем взводе.

Сейчас, спустя 38 лет, я с удивлением вспоминаю этот разговор. Откуда у 18-летнего юноши такое пророческое ясновидение? Он говорил, что в смертельной схватке сцепились два фашистских чудовища, что было бы счастьем, если бы евреи могли следить за этой схваткой со стороны, что это не их война, хотя, возможно, именно она принесет прозрение евреям, даже таким глупым, как я, и поможет восстановить Исроэль.

Я считал абсурдом все, о чем говорил мой друг. И самым большим абсурдом — слова о еврействе и каком-то Исроэле.

Возможно, зная мое пристрастие к литературным образам, Шуля сказал: "А Исроэль был всегда. Есть и сейчас. Просто, как спящая красавица, он сейчас в хрустальном гробу. Не умер. Спит. Ждет, когда прекрасный принц разбудит его. Увы, прекрасным принцем окажется эта ужасная война. Не наша война. Хотя пробуждение Исроэля в какой-то мере делает ее нашей. Когда меня призовут, я пойду на войну. Но добровольно? — ни в коем случае". Разгневанный, я ушел, хлопнув дверью.

Шулим Даин погиб в Сталинграде. Крепкий, коренастый Шуля с большой лобастой головой ученого, со смугло-матовым лицом сефарда, с горящими черными глазами пророка. Погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Погиб, как и многие ребята из нашей школы. И из других школ Могилева-Подольского. Страшная статистика. В двух девярых классах нашей школы был 31 мальчик. Из них 30 — евреи. В живых остались 4. Все — инвалиды Отечественной войны.

Евреи не воевали — любимая фраза антисемитов в черные послевоенные годы. Евреи не воевали — и

сегодня звучит в СССР на каждом шагу.

Я вспоминаю лица моих одноклассников, моих друзей, героически погибших на фронте. Сюня Дац, Сема Криц, Абраша Мавергуз, Эля Немировский, Мона Ройзман, Сюня Ройтберг, Бума Шейнман, Абраша Эпштейн... Увы, я мог бы продолжить перечисление имен.

Незадолго до отъезда в Израиль мы с семьей поехали на мою могилу. Звучит это странно, но иногда и такое случается. Осенью 1944 года в Восточной Пруссии был подбит мой танк. Чудом мне удалось выскокить. Однополчане захоронили месиво сгоревших в машине тел. Посчитав, что и я погиб, на памятнике написали мое имя.

В поисках этой могилы мы поехали в город Нестеров, бывший немецкий Эйдкунен. (Самые большие в мире поборники справедливости, на каждом шагу кричащие об израильской агрессии, борцы за мир во всем мире, воюющие против неосуществленных Израилем аннексий, переименовывая на русский лад аннексированные немецкие города, по-видимому, не знают, что Иерихо, Бейт-Лехем, Хеврон под этими самыми именами были городами еврейского государства за несколько тысячелетий до появления и Германии, и России.) Услышав мою фамилию, военком любезно предоставил списки захороненных в его районе воинов Советской армии. Мы с сыном стали просматривать эти списки и на каждой странице встречали еврейские фамилии и имена.

В Калининграде, бывшем Кенигсберге, грандиозный памятник над братской могилой воинов 5-й гвардейской армии. На плитах немало еврейских фамилий, а возглавляет список гвардии майор Рабинович.

На братских могилах в Сталинграде и в Севастополе, в Новороссийске и на Курской дуге — всюду высечены еврейские фамилии. А ведь не обязательно у еврея должна быть еврейская фамилия.

В городе Орджоникидзе стоит памятник Герою

Советского Союза старшему лейтенанту Козлову. С Козловым я познакомился в сентябре 1942 года.

На Северном Кавказе, под станцией Прохладной шли упорные бои. Немцы рвались к нефти, к Грозному и дальше — к Баку. У них было подавляющее преимущество в технике, в вооружении. Немецкая авиация полностью господствовала в воздухе. Но даже танковый кулак Клейста ничего не мог сделать. Продвижение на каждый километр стоило фашистам колоссальных потерь.

Во время этих боев я и познакомился с добрым и симпатичным старшим лейтенантом Козловым. Обычный русский парень. В голову бы мне не могла прийти мысль, что он еврей. Но однажды, когда я захотел угостить его колбасой, он деликатно отказался, объяснив, что не ест тrefного, и спросил, почему я не соблюдаю этот закон. Тогда-то я узнал, что старший лейтенант Козлов — горский еврей.

Скромный и тихий командир тридцатьчетверки (старший лейтенант — всего-навсего командир машины, и это в 1942 году, когда лейтенант мог быть командиром батальона!), он только в одном бою уничтожил 17 немецких танков. В том бою и погиб старший лейтенант Козлов. Разумеется, никому из гостей города Орджоникидзе не объясняют, что Герой Советского Союза Козлов — еврей из Дагестана. Евреи ведь не воевали.

О том, что Козлов еврей, я узнал потому, что он не скрывал этого. А ведь как часто скрывали! Почему? Было несколько причин, и я еще вернусь к этому вопросу.

До сих пор я не знаю, был ли Толя Ицков, командир танка в моей роте, евреем. Он прибыл в нашу бригаду перед зимним наступлением. Внешне — типичный еврей, но в комсомольском билете он значился русским. Никогда мы с ним не касались темы национальности. Я не просто сомневался, а не верил тому, что он русский. Мне очень хотелось увидеть Ицкова

в бане. Конечно, и наличие крайней плоти не исключало принадлежности к евреям. Но уж отсутствие! Толя избегал мыться со всеми. В зимнем наступлении 1945 года он погиб. Не знаю, был ли он евреем.

Этот пример я привел для того, чтобы показать, как трудно статистикам и социологам, изучающим этот проклятый еврейский вопрос, как трудно вычислить истинный процент евреев, участников войны.

В Киеве в течение нескольких лет я стригся у старого еврея-парикмахера. Нас сдружила любовь к симфонической музыке. Как-то мы разговорились с ним о войне. Старый еврей извлек из бокового кармана фотографию военного летчика со звездой Героя Советского Союза на груди. Оказалось, что это — его сын. Но фамилия у него не отцовская, а русская, и значит он русским.

Когда мы познакомились, я неделикатно спросил его о причине метаморфозы. История тривиальная. В начале войны его сбили. Он долго выходил из окружения. Боялся и немцев и своих. Назвался русским. В этом качестве он получил Героя Советского Союза.

— Знаете, — сказал он, — был в нашей эскадрилье еврейский парень, ас, каких свет не знал. Я ему в подметки не годился, да и никто в нашей эскадрилье. А командование нашей дивизии было дюже антисемитским. Так ему и не дали Героя. Даже летчикам, которые никогда не говорили еврей — только жид, было стыдно, что к нему так относились. Будь я евреем, ни при каких условиях не получил бы Героя.

”Будь я евреем”... — он так и сказал. Неужели он, сын старого еврея-парикмахера, в доме которого и сейчас зажигают субботние свечи, действительно забыл, кто он?

У меня есть друг. Я еще надеюсь увидеть его гражданином Израиля. В начале войны он попал в окружение. Воевал в партизанском отряде. Быть евреем в партизанском отряде нелегко и небезопасно. Свои же могли убить. Изменил имя, отчество и фамилию.



А после войны так и остался украинцем. Женился на еврейке. Все мы, его друзья, знаем истинные имя и фамилию этого "украинца". Он еврей до мозга костей. По убеждениям. Но там, в СССР, он до сих пор украинец.

Опасность быть евреем в окружении, в партизанском отряде, в своей части — одна из причин сокрытия своего еврейства.

Мой друг Владимир Цам, будучи тяжело раненным, несколько месяцев находился в окружении беспомощный, почти неподвижный. Естественно, скрывал, что он еврей. Но как только очутился в советском госпитале, снова возвратился к своей национальности. Вероятно, потому что Владимир сразу, как только позволили обстоятельства, стал евреем, он еще раньше меня приехал в Израиль, а другой мой друг, продолжающий числиться украинцем, все еще находится в Советском Союзе.

Не знаю, был ли Толя Ицков евреем. Но я знал многих других, скрывавших свою национальность, ставших русскими, украинцами, молдаванами, армянами, татарами, только бы никто в части не знал, что они евреи. Иногда это было просто небезопасно.

Мой земляк Ароня, пожалуй, самый тихий, миролюбивый, даже пацифистски настроенный мальчик, во время войны, не совершив никакого проступка, стал командиром штрафной роты. И еще несколько моих знакомых назначались на самые гиблые, самые опасные должности только потому, что они евреи. Орденами и медалями даже за экстраординарные подвиги евреи награждались реже и хуже, чем их товарищи другой национальности. (Четвертое место по количеству награжденных орденами и медалями после русских, украинцев и белоруссов в абсолютном исчислении и первое — в процентном занимают евреи. А чему равняется поправочный коэффициент на недонагражденных и скрывших свою национальность?)

Простой пример. В СССР любому известно имя

легендарного разведчика Николая Кузнецова. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он действительно заслужил высокое звание за свои подвиги. Но почти никому не известно имя Михаила Имаса, сына еврея-аптекаря из Кишинева. Даже люди фантастической смелости, воевавшие рядом с Михаилом Имасом, рассказывали мне, что более храброго человека они не только не встречали, но даже не представляют себе. Свободно владея немецким, французским и румынским языками, Михаил Имас "работал" под майора немецкой армии (Кузнецов — под старшего лейтенанта), проникал в немыслимые места немецкого тыла. Интересная статистика: партизанский отряд Леонида Бернштейна (этот еврей недавно приезжал в Израиль в составе советской делегации ветеранов войны), в котором разведчиком воевал Михаил Имас, только в июне-июле 1944 года уничтожил немецких эшелонов больше, чем все партизанские отряды Советского Союза вместе за это же время. Львиная доля этой победы приходится на долю Михаила Имаса. Он погиб уже в Чехословакии, так и не удостоившись высоких наград. Кстати, не удостоился высокого звания и его командир Бернштейн, верой и правдой продолжавший служить своей стране.

Кроме небезопасности, ощущение ущербности, дискомфорта от принадлежности к еврейской национальности — еще одна причина, заставлявшая многих отказываться от своего еврейства.

Но была и другая реакция. Вызов. Подчеркнутое бесстрашие. Насмешка над опасностью в таких ситуациях, в которых сникали даже очень сильные натуры. Истерическая, граничащая с безумием готовность выполнить самое отчаянное задание.

Да простят мне погибшие такое определение. Может быть, я интерполирую свои ощущения на других, но трудно иначе объяснить поступки очень многих известных мне евреев. Не сомневаюсь в их, увы, беззаветной преданности партии Ленина—Сталина, в их сыновней

преданности Родине.

До самого нашего отъезда в Израиль у матери моей жены хранились письма ее брата — Абрама Розенберга, письма с фронта, в том числе письмо, написанное перед боем, в котором он погиб. Это было под Новороссийском. Тяжелейшее время. Страшнейшие бои. Но какой оптимизм в каждом письме! Какая беспредельная вера в победу!

Я любил романтические "остроугольные" стихи Павла Когана. Его "Бригантина" и до сегодня в Советском Союзе одно из популярнейших стихотворений. Почти слепой юноша, преодолевая разумное сопротивление военкомата, он все-таки попал на фронт. Но вполне опасной в то время должности военного переводчика ему было мало. Штаб дивизии казался ему глубоким тылом. Я почти уверен, что побудительной причиной его безрассудного поступка, — Коган ушел на передовую командиром взвода разведки, — было так хорошо известное мне чувство, а вдруг кто-нибудь подумает, что еврей — трус, что еврей отсиживается в тылу. Понимаете ли вы, что такое командир взвода разведки, слабо видящий даже в сильных очках? Павел Коган, еврейский юноша, самообытный талантливый русский поэт, смелый до безрассудства офицер погиб под Новороссийском.

"Евреи прячутся в Ташкенте". Протест против этой подлой антисемитской фразы, звучавшей почти так же часто, как и "смерть немецким оккупантам", был подводной частью айсберга, надводной частью которого была отчаянная смелость, вызывающий недоумение героизм.

На каждом фронте была танковая бригада прорыва. Функция такого подразделения — в начале наступления проделать брешь в обороне противника, увы, ценой собственного уничтожения. В эту брешь устремлялись подвижные соединения. А бригада, от которой оставались только тыловые подразделения, формировалась, готовясь к новой мясорубке.

На 3-м Белорусском фронте бригадой прорыва была 2-я отдельная гвардейская танковая бригада. В этой прославленной части мне чудом посчастливилось пережить четыре наступления. Уже после второго — я заслуженно получил кличку "Счастливчик". Только в пятом наступлении, да и то — на девятый день, меня основательно достало. Так основательно, что я выбыл не только из бригады, но даже из списков когда-нибудь годных к военной службе.

За время пребывания в бригаде в боевых экипажах я знал троих явных евреев. Были вызывавшие мои подозрения. О Толе Ицкове я уже писал. Я почти не знал людей мотострелкового батальона, кроме моего десанта. Не знал артиллеристов. Одно время командиром бригады был гвардии полковник Духовный, еврей, не скрывающий своей национальности. Несколько евреев было в штабе бригады и в роте технического обеспечения. Все они, конечно, подвергались опасности не меньше, скажем, чем обычный командир стрелковой роты. Но с точки зрения воюющего в танке они были тыловиками. Поэтому я написал, что знал только трех явных евреев.

Командир роты гвардии старший лейтенант Абрам Коган был для меня образцом во всех отношениях. Умный, интеллигентный, расчетливо смелый, он заслуженно считался лучшим офицером бригады. Абрам Коган погиб осенью 1944 года.

Всеобщий любимец бригады — механик-водитель главрдии старшина Вайншток. Однажды по приказу очень высокопоставленного идиота мы чуть ли не целый день проторчали на исходной позиции под бешеным огнем немцев. Нервы уже на пределе. И вдруг на башню своего танка взобрался старшина Вайншток и стал отстукивать такую чечетку, что мы ахнули. И вообще, какое значение имеют все эти взрывы снарядов, и фонтаны грязи вперемежку с взлетающими в воздух деревьями, и подлое фырчание осколков, если красивый смуглый парень в этом аду

может так лихо отплясывать чечетку. Стоп! Это память прервала мой рассказ.

Был в нашем батальоне славный юноша с тонким интеллигентным лицом — гвардии младший лейтенант Габриель Урманов. Родом из Узбекистана. Узбек, так мы считали. Но откуда у узбека имя Габриель? Уже значительно позже я узнал о существовании бухарских евреев. А познакомился с ними только в Израиле. Не знаю, успел ли Габриель Урманов услышать переданное комбригом по радио поздравление по поводу награждения его орденом Ленина. Именно в этот момент болванка зажгла танк Урманова. Как и в случае с Ицковым, я ничего определенного не могу сказать о национальности этого храброго офицера-танкиста.

Поздней осенью 1944 года ко мне во взвод командиром танка прибыл лейтенант Сегал. Вероятно, ему было бы значительно легче, если бы его командиром был злейший антисемит. И это при том, что я делал скидку на старость Сегала. Ему было 32 года. Танкистом он стал недавно, окончив курсы усовершенствования командного состава. До этого он служил в войсках НКВД. Все меня раздражало в лейтенанте Сегале — и мешковатый комбинезон, и чрезмерно широкие голенища кирзовых сапог, и втягивание головы при каждом разрыве снаряда, а главное — боязнь его ехать на крыле танка, как это положено на марше каждому командиру. Меня не устраивало, что Сегал был не более труслив, чем большинство офицеров батальона. Нет! Почему он не так же бесстрашен, не так же ярок, не так же блестящ, как Коган и Вайншток? Почему он, по меньшей мере, не так же храбр, как комбриг Духовный, или начальник первого отдела штаба гвардии майор Клейман? Не знаю, уцелел ли гвардии лейтенант Сегал. Но, да простит он мне мою глупость, умноженную на комплекс еврейства.

Я написал, что, возможно, интерполирую на других свои чувства, говоря о мотивах бессмысленной браватуры.

ды, демонстрируемого бесстрашия и тому подобного. Но, кажется, у меня есть основания для обобщения.

Недавно я с удовольствием прочитал честную и талантливую книгу Ларского "Записки ротного придурка". Сквозь добрый юмор, сквозь еврейскую иронию, которыми Ларский пытается приглушить рвущиеся из него чувства, явно проступают все те же побудительные причины видимого бесстрашия — кроме всего прочего, доказать, что евреи не отсиживались в Ташкенте.

Ну и что, удавалось доказать? Даже в нашей бригаде, где было очевидным участие евреев в самом лучшем, в самом активном качестве, можно было наткнуться на типичное для всей страны абсурдное осуждение евреев.

Однажды, крепко выпив, мой комбат гвардии майор Дорош, человек хороший, с некоторым налетом интеллигентности, в порыве благорасположения ко мне сказал: "Знаешь, Ион, ты парень очень хороший, совсем не похож на еврея". Потом, протрезвев и видя мою реакцию на этот "комплимент", он долго оправдывался, приводя обычный аргумент антисемитов: "Да у меня знаешь сколько друзей евреев!" Да, я знаю. У Пуришкевича тоже были друзья еврея.

На легкое проявление антисемитизма у моего командира я отреагировал сугубо официальным отношением к нему. Этого было достаточно. Но сколько трагедий случалось, если грязный сапог антисемита, надеясь на безнаказанность, топтал душу еврея!

В институте я учился в одной группе с Захаром Коганом. На войне он был танкистом. Однажды в офицерском училище (это происходило в Киеве) по приказу старшины роты он переносил кровати из одного помещения в другое. Случайно (а, может быть, и не случайно) напарником его оказался курсант-еврей. Парень устал и присел отдохнуть. Захар, человек недюжинной силы, взвалил на себя кровать и понес ее без помощи товарища. Это заметил старшина роты. "Жиды

не могут не сачковать. Всегда они ищут выгоду". Реакция Когана была мгновенной. Происходило это зимой. Двойные окна на лестничной площадке 3-го этажа были закрыты. Захар кроватью прижал старшину к окну, продавил стекла и раму и выбросил старшину вниз, во двор. Мешок с костями увезли в госпиталь. Когану повезло. Заместителем начальника училища был еврей. Выслушав объяснение курсанта, он дал ему десять суток строгой гауптвахты, чем спас от военного трибунала\*.

Генрих Блитштейн, мой старинный киевский друг, а сейчас — сосед по Рамат-Гану, во время войны в Брянском лесу застрелил подполковника, своего непосредственного начальника за "жидовская морда". Генриху тоже повезло. Его только разжаловали. И уже с нижней ступеньки он начал восхождение по лестнице званий, пока добрался до майора.

Интересную историю об одном из моих оставшихся в живых одноклассников я случайно узнал в Киеве от двух больших партизанских командиров, воевавших в соединении Ковпака. Даже будучи моими благодарными пациентами, они не скрывали своей неприязни к евреям. Я, как они говорили, исключение, вероятно, только потому, что оперировал обоих. А еще Миша. Его они просто боялись, следовательно, очень уважали. Узнав, что Миша — мой одноклассник, они охотно рассказали о нем такое, чего сам он мне не рассказывал.

Миша, юноша с ярко выраженной еврейской внешностью, попал в лапы к немцам у Буга. В Печорском лагере вместе с другими евреями Мишу расстреляли в противотанковом рву. Ночью он очнулся под грудой тел. Мучимый болью и жаждой, с простреленной грудью и перебитой пулей рукой, он соорудил из трупов

\* Мой друг Захар Коган скоропостижно скончался в Израиле 13 июня 1983 года — бет бетамуз (благословенна память его).

лестницу и выбрался из рва. Где-то отлеживался. Чем-то питался. Медленно пробирался на восток. В конце концов уже осенью на Сумщине попал в партизанский отряд. Попросился в разведку, заявив, что свободно владеет немецким языком. (Родным языком Миши был идиш. На идиш говорили в их доме. Кроме того, он окончил 7 классов еврейской школы.)

Однажды его отделение взяло двух "языков". Несколько дней добирались до меняющего дислокацию отряда. Уже в нескольких шагах от штаба Миша не выдержал и задушил (не застрелил, а задушил!) обоих немцев. В штабе он объяснил, что долго боролся с собой, что понимал, как нужен "язык", хотя бы один, но ничего не смог поделать, не смог пересилить себя, не мог долго видеть живых немцев в военной форме. После того, как подобное повторилось, Мише запретили конвоировать пленных. Запретить ему брать "языка" справедливо посчитали бессмысленным, так как никто в разведке не делал этого лучше Миши.

Я уже говорил, что у него была ярко выраженная еврейская внешность. К тому же он ужасно картавил. Как-то один из новичков партизанского отряда позволил себе посмеяться над этими качествами и вообще — над жидами. С того дня, когда Миша выполз из противотанкового рва, он не смеялся. И не терпел шуток на определенные темы. На свое несчастье новичок не знал этого. Автоматная очередь прекратила его антисемитские шуточки. К этому времени Миша был награжден орденом Красной звезды. Его лишили награды.

Спустя некоторое время Миша убил еще одного антисемита. С тех пор разговор об "абхашах и сахах" немедленно прекращался, если знали, что где-нибудь поблизости этот сумасшедший жид. Его уважали за безумную храбрость, за жестокость к немцам. Но боялись. И не любили. Не только рядовые партизаны, но и командиры. И когда до штаба дошли слухи, что земляки застреленного Мишей партизана собираются



убить его, командование не предприняло никаких мер.

В разведку они ушли вчетвером — Миша и три земляка убитого им партизана. Через два дня он вернулся раненный ножом в спину. Привел "языка". О товарищах по разведке в штабе сухо доложил: "Убиты". Кем и при каких обстоятельствах, осталось невыясненным.

(На мой вопрос, когда были убиты разведчики — до или после взятия "языка", Миша сухо ответил: "Не помню". И не захотел продолжать разговор на эту тему. Но если бы разведчики были убиты после, "язык" мог быть свидетелем происшедшего. Следовательно, Миша в одиночку, раненный ножом в спину, взял "языка"!)

После этого партизаны уже не предпринимали попыток расправиться с Мишей.

— Да, это парень! Это вам не наши покоренькие жидочки. Только в Израиле еще есть такие евреи.

Разговор происходил вскоре после Шестидневной войны. Миша для них был исключением. Евреи ведь не воевали. Мои возражения они даже не хотели слушать. Вообще национальный вопрос был ими продуман окончательно и бесповоротно. Украина должна быть самостоятельной. Москалей — к чертовой матери в Россию, а всех жидов без исключения — в Израиль.

— Но ведь евреи в Израиле не делают этого с арабами, — возразил я.

— Ну и говнюки, что не делают.

Я несколько отвлекся от темы. Но именно этот разговор последовал за фразой "это вам не наши покоренькие жидочки".

Еще раз пришлось мне услышать нечто подобное. Мой добрый знакомый еврей, Герой Советского Союза, в прошлом военный летчик, давно уже на пенсии по инвалидности. Работает на маленькой административной должности. Его фронтовой товарищ дослужился до генерал-лейтенанта авиации и занимает очень высокую командную должность в том же городе. Обычный украинец-служака, такой себе нормальный

антисемит. Но со своим фронтовым товарищем-евреем по-прежнему дружит. Дружат семьями часто бывая друг у друга.

После возвращения из Египта, где он был советским военным советником, генерал собрал в своем доме друзей. Пришел, естественно, и Герой-еврей. Генерал последними словами поносил арабов. Говорил он о них с такой лютой ненавистью, словно только что вернулся с войны против арабов, а не служил у них военным советником. И тут же с удивительной теплотой и симпатией заговорил об израильских летчиках. Тем более удивительной, что никогда не скрывал своих антисемитских настроений. Он захлебывался, не находя нужных эпитетов, и заключил:

— Да что там говорить, это вам не бердичевские евреи!

И тут мой знакомый сказал:

— Кстати, Алеша, я — бердичевский еврей.

Генерал и гости, знавшие его по войне, с недоумением посмотрели на своего товарища и вспомнили, что он действительно еврей, и вспомнили, за что ему дали Героя, и вспомнили, что не было в соединении равного ему летчика. И хозяин дома смущенно произнес:

— Фу ты, ...твою мать, а ведь я вправду забыл об этом!

Да, забыли об этом. Потому что не хотят знать этого. И поэтому скрывают, тщательно скрывают это.

Во время войны я наивно был уверен, что антисемитизм гнездится только в низах, что начальство борется с ним, не говоря уже о моей родной коммунистической партии, пролетарский интернационализм которой — прямая антитеза антисемитизма. Но эта иллюзия вскоре развеялась, как и другие иллюзии о коммунизме, на которых я был вскормлен.

Уже упоминалось о Михаиле Имасе, разведчике, совершавшем невозможное. В Киеве, в государственном издательстве политической литературы готовилась

к печати книга о партизанском отряде, в котором воевал Михаил Имас. Автор неосторожно упомянул, что Имас — еврей. Это место вымарали, а автору сделали соответствующее внушение. Можно было написать, что в отряде были поляки, словаки, что информацию отряд получал даже у немцев. Но написать о героических действиях еврея? Табу!

Конечно, возразят мне, это произошло в Киеве, в признанном центре антисемитизма, в конце-концов, это мог быть антисемитизм частного лица, а не Государственного издательства. Так может возразить только не ведающий, что такое издательское дело в СССР. И специально для него — другой пример.

Имя Героя Советского Союза Цезаря Куникова, бесстрашного командира батальона морской пехоты, родоначальника командос в Красной армии, удивительного человека, основавшего легендарную Малую землю под Новороссийском, очень популярно в СССР. О нем написана книга "Товарищ майор". Поскольку книга — биография человека, автор, естественно, упомянул и о родителях героя, евреях.

В издательстве политической литературы, нет, не в Киеве — в Москве, автору указали на неудобоваримость и неуместность этого слова — еврей. Автор был вынужден покориться. Но все-таки он надеялся на то, что кто-нибудь из читателей поймет две следующих фразы: "Уважение к людям, в поте лица добывающим хлеб свой... было первой истиной, которую предлагалось усвоить детям. Да иначе и не мог воспитывать их глава семьи Лев Моисеевич Куников: с шести лет он остался сиротой и всего в жизни добился трудом, вопреки своему сиротству и законам Российской империи" и "Мать, Татьяна Абрамовна, была человеком эмоциональным..." Вот и все. И автор, уязвленный тем, что вынужден непонятно почему скрывать правду, надеялся, что эти две фразы прольют свет на непроницаемую национальность героя его книги.

Впрочем, почему непроницаемую? Во всех военно-

матах Советского Союза висят плакаты с фотографиями выдающихся Героев Советского Союза, участников Отечественной войны. Под каждой фотографией краткая биография, содержащая национальность Героя. Есть белорусы и таджики, абхазцы и башкиры. Есть на плакате и фотография Цезаря Львовича Куникова. И подпись — русский. Но ведь это подлая фальсификация, цель которой ясна. Фальсификация не частного лица, нет.

С женой и сыном приехали мы в Новороссийск. В большом экскурсионном автобусе поехали осматривать город. Симпатичная девушка-гид со знанием рассказывала о достопримечательностях. А достопримечательности там какие? Все связано с войной. С почтением говорила она о Куниковском районе, о Куниковке, о Куникове, создателе Малой земли. Я задал ей невинный вопрос:

— Кто он по национальности?

Бедная девушка, как она смутилась!

— Мама у него, кажется, была гречанка...

— Вы ошибаетесь. Мама у него была еврейка, — громко, чтобы могли услышать и в конце автобуса, сказал я, — а зато папа тоже был евреем.

Жена испуганно толкала меня локтем в бок. На могиле Цезаря Львовича я завелся. На памятнике фотография — Куников в морской фуражке с "крабом", с орденом "Отечественной войны" на груди. Ложь! При жизни у Цезаря Львовича не было никаких наград. Я имел честь знать этого удивительного человека. Он читал мне, семнадцатилетнему командиру, свои стихи. Никогда на нем не было ничего парадного. В пилотке или в шапке, в гимнастерке или в ватнике он всегда выглядел элегантным.

Возле могилы Куникова собралось несколько сот экскурсантов. Рассказывал о майоре уже другой экскурсовод. И ему я задал все тот же проклятый вопрос о национальности. И здесь в ответ последовала заведомая ложь. Тогда я рассказал о Куникове правду.

Надо отметить, что люди слушали внимательно.

Жена ругала меня. И не без оснований. В КГБ, уже в Киеве, меня отчитали за сионистское выступление, на что я с невинным непониманием ответил:

— Будь Куников адыгейцем, вы бы обвинили меня в том, что я, не дай Бог, хочу отделить Адыгейскую национальную область от великого Советского Союза?

Адыгейца можно назвать адыгейцем, но еврея евреем — только в том случае, если он сукин сын. Официально этого не говорят. Это делают.

Однажды поздно вечером мне позвонил крупнейший советский ортопед:

— Вы читали сегодня "Комсомольскую правду"?

— Я "Комсомольскую правду" не читаю.

Услышав мой ответ, сын тут же принес газету и сокрушенно прошептал:

— Забыл тебе показать.

Между тем, член. корр. продолжал:

— Вы знали Доватора?

— Его знала вся страна.

— Нет, лично вы были с ним знакомы?

— Нет.

— Вот послушайте, что тут написано: "Тот, кто видел генерала Доватора в седле, мог подумать, что он донской или кубанский казак".

— Я знаю, что он не казак.

— Слушайте дальше: "А между тем, он был сыном белорусского батрака".

Я рассмеялся. На том конце провода продолжали:

— Я этого сына белорусского батрака видел без штанов. Генерал Доватор был моим пациентом.

— Федор Родионович, я знаю и знал, что генерал Доватор был евреем. Для этого вы позвонили мне в половине одиннадцатого ночи?

— Нет, просто мне интересно, зачем это делают?

— Сколько человек знает, что Доватор еврей? Пусть десять тысяч. А сколько миллионов читают "Комсомольскую правду"?

Оба мы были уверены, что наш разговор записывается на пленку в КГБ.

При встрече, спустя несколько дней, член-корр. продолжал возмущаться тем, что еврея Доватора назвали белорусом. Он действительно героический генерал. Москва действительно обязана ему тем, что он защищал ее в самые страшные дни, помнит его, погибшего под Москвой, но неужели так обеднели славяне, что должны пополнять свою славу за счет евреев?

Не знаю, обеднели ли славяне, но евреи не воевали. Эту версию надо прочно внедрить в сознание советских людей.

В 1973 году я был на научной конференции в Белгороде. В один из свободных дней нас повезли на экскурсию в музей битвы на Курской дуге. С экскурсоводом нам явно повезло. Отставной полковник, человек знающий, умный, отличный лектор. По пути к музею он интересно рассказывал о боях, на местности показывал диспозицию частей и соединений, оперировал такими подробностями, которые я слышал впервые, хотя всегда интересовался историей второй мировой войны. Несколько раз он называл фамилию героического летчика, только в одном бою уничтожившего девять немецких самолетов — Горовец. Горовец — эта фамилия мне ничего не говорила, ничего не напоминала.

Часа через два мы подъехали к музею-памятнику. Сооружение грандиозное! Мимо артиллерийских позиций по траншее пробираемся в блиндаж и попадаем... в музей. Здорово! На меня дохнуло войной. Ассоциации. Воспоминания. Прав Арман Лану: "Для тех, кто ушел на фронт молодым, война никогда не кончается"... В музее все, как в музее. Экскурсовод-полковник показал на фотографию на стене: "А это и есть Горовец, герой-летчик, в одном только бою сбивший девять немецких самолетов". С фотографии на меня смотрели печальные глаза еврейского юноши. Горовец. Горовец!

Я обратился к экскурсоводу:

— Простите, но вы неправильно произносите еврейскую фамилию. Гóровец — так ставится ударение.

Экскурсовод густо покраснел, смешался, но тут же ответил:

— Возможно. Я не знал. Большое спасибо.

Знал! Отлично знал! Это было написано на его смущенной физиономии. И замечено было не только мною. Мой коллега, московский профессор заметил:

— Однако, Иона Лазаревич, вы националист.

— Что вы! Просто перед моим мысленным взором заглавие одной из статей Ленина — "О национальной гордости великороссов". Помните?

Не Гóровец, а Гóровец. Естественно. Евреи ведь не воевали!

После войны в Киеве, рядом с Аскольдовой могилкой поставили памятники выдающимся воинам и военачальникам, погибшим в боях за Украину. Был там памятник и подполковнику с типичной еврейской фамилией, именем и отчеством. Потом захоронение перенесли в парк недалеко от Лавры. Рядом с памятником Неизвестному солдату появились надгробные плиты. Но неудобной фамилии подполковника уже не было. Спасибо, что его вовсе не выбросили, а захоронили на Байковом кладбище. Тем более, что возле могилы Неизвестному солдату есть надгробная плита с именем Юрия Добжанского. Но многим ли известно, что Герой Советского Союза Юрий Моисеевич Добжанский, старший лейтенант, славный застенчивый Юра? Многие ли знают, что он был евреем? А зачем это должно быть известно? Евреи-то ведь не воевали.

За два дня до нашего отъезда в Израиль ко мне пришла попрощаться профессор Киевского университета. Она разрешила назвать ее фамилию, сослаться на нее, когда я сообщу в Израиле то, что она рассказала. Она, русская женщина, уполномочила меня передать ее рассказ. С благодарностью я это делаю, все-таки пока не упоминая ее фамилии.

— Вам говорит что-нибудь, — спросила она, — имя

Александр Ковалев?

— Да, — ответил я. — Герой Советского Союза, моряк совершивший беспримерный подвиг на Северном флоте. У меня, кажется, есть марка с его изображением.

— Верно. А известно ли вам еще что-нибудь о нем? Знаете ли вы биографию Ковалева?

Больше я ничего не знал, и профессор рассказала мне необычно-обычную историю.

В 1937 году был арестован и расстрелян талантливый инженер Рабинович, незадолго до этого вернувшийся из США, где он покупал для СССР лицензии и другую техническую документацию. В лагерь, как жена врага народа, была сослана Лиля Рабинович. Их малолетний сын Саша был усыновлен сестрой Лили Ритой.

Рита очень знаменитая в Советском Союзе переводчица и писательница — Рита Яковлевна Райт-Ковалева. Муж ее — адмирал Ковалев. Так Саша Рабинович стал Александром Ковалевым.

В начале войны Александр Ковалев, мальчишка, мечтающий попасть на фронт, поступил в школу юнг. Спустя короткое время исполнилась мечта мальчика: он стал юнгой на военном корабле. Мужество его восхищало выдавших виды матросов. В одном из боев Александр Ковалев ценой собственной жизни спас экипаж гибнущего корабля: он заткнул пробойну своим телом. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Он навечно зачислен в экипаж корабля. В городе Североморске — базе Северного флота — стоит памятник Александру Ковалеву. Военный корабль назван его именем. Выпущена марка с портретом Александра Ковалева. Сотни пионерских отрядов носят его имя. Но не только вообще в стране, даже пионеры в отрядах, даже моряки на корабле его имени, даже жители Североморска, по несколько раз в день проходящие мимо его памятника, никто не знает, что Александр Ковалев — это Саша Рабинович, сын расстрелянного инженера Рабиновича и погибшей



в лагере Либи Райт. А зачем знать? Евреи ведь не воевали.

Действительно, евреи не воевали. Но в числе первых пяти дважды Героев Советского Союза и самым видным из них был еврей-летчик Яков Смушкевич. (Выдающийся полярный и военный летчик Михаил Водопьянов восхищенно назвал его "рожденный летать".) Яков Смушкевич родом из Литвы, именем которой была названа 16-я стрелковая дивизия. Но почему она Литовская, а не Еврейская, если самый большой процент в ней составляли вильнюсские, каунасские, шауляйские, кибартийские и другие евреи? Трудно непосвященному ответить на этот наивный вопрос.

Еще в финскую войну первым в СССР артиллеристом, получившим звание Героя Советского Союза, был старший лейтенант Маргулис — тоже не бурят. И что уже просто звучит анекдотично: первым кавалером ордена Богдана Хмельницкого стал полковник Рабинович. Недовыполнил Богдан Хмельницкий священную миссию уничтожения евреев. Остались они на Украине (полковник, а позже генерал Рабинович — житель Киева). Остались, подлые, чтобы воевать за эту Украину да еще первыми в Красной армии получать вновь учрежденный орден Богдана Хмельницкого.

Говорят, что на Северном флоте и сегодня антисемитизм меньше не только, чем на других флотах, но даже меньше, чем в среднем по Советскому Союзу. Кое-кто объясняет это большим количеством прославленных морских офицеров-евреев. Во время войны вся страна знала командира подводной лодки Героя Советского Союза Фисановича. Это был знаменитый тандем Героев-подводников, друзья-сопернователи Фисанович и Иоселиани. Еврей и грузин.

Грузин? Иоселиани? Мне сказали, что Иоселиани грузин. Правда, мне сказали, что Куников — русский, Доватор — белорус и т.д.

Вот если бы в части появился еврей трус, весь фронт немедленно узнал бы о трусости евреев. Но ведь для

этого знания вовсе не нужны факты. Евреи сидели в Ташкенте. И тем хуже для факта, если это не так. Тем более, что факт, как говорит мой родной Центральный Комитет, само по себе ничего не значит, если он не освещен ярким светом Марксизма—Ленинизма.

А уж если даже еврей — основоположник этого бес-  
смертного учения был антисемитом, то чего же требо-  
вать от тех, кто впитав в себя антисемитизм с моло-  
ком матери, считают себя последователями осново-  
положника.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МУЖЕСТВЕ

Однажды в августе 1945 года, меня вызвали во 2-й дом Наркомата обороны. В ту пору я "кантовался" в полку резерва бронетанковых и механизированных войск. "Кантовался" → очень емкое слово. Его следовало бы рекомендовать в Израиле для определения работы многих чиновников. Официально я числился на службе в армии, но повседневным занятием моим было безделье или бесцельное болтание по Москве. Не знаю, что творилось в трех остальных батальонах полка резерва, но в нашем — только "кантовались". Да и название у него было соответствующим — 4-й "мотокостыльный" батальон. Действительно, в батальоне не было ни одного офицера без видимых признаков инвалидности. Только у командира батальона, гвардии полковника, были и глаза, и руки, и ноги. Правда, всем было известно, что после ранения на нем нет живого места. А еще было известно, что ранение это он получил, закрыв своим телом пацана-подчиненного. Случай из ряда вон выходящий: не подчиненный спас командира, а командир — подчиненного.

Вообще о командире батальона рассказывали легенды. В танковой армии генерала Рыбалко он был самым прославленным, самым героическим командиром бригады. Надо сказать, что танкисты — народ, мягко выражаясь, весьма демократичный. Чинопочитание

как-то исключается общностью боевой деятельности, совместной жизнью в экипаже. Это даже в нормальной части. А тут, в "мотокостыльном" батальоне собрались офицеры, которым вообще на все наплевать, потому что черная перевязь, перечеркивающая изуродованное ожоговыми рубцами лицо, костыли или протезы доводили демократизм до апогея. И тем не менее, командир батальона подчинялись с удовольствием. Его не просто уважали — боготворили, хотя он и еврей. Но ведь каким должен быть этот еврей, чтобы дважды получить звание Героя Советского Союза! Да еще где, — в танковой армии антисемита Рыбалко!

Так вот, из "мотокостыльного" батальона меня вызвали во 2-й дом НКО. В этом не было бы ничего странного, так как многих офицеров вызывали туда, если бы вызов был не лично к командующему бронетанковыми войсками Советской армии маршалу танковых войск Федоренко. Лейтенанта вызывают к маршалу!

Вышагивая на костылях по пустынной дороге, связывающей казармы на Песчанке со станцией метро "Сокол" (в ту пору там еще не было ни одного дома), я испытывал в основном любопытство с едва заметным налетом беспокойства. Мне было двадцать лет. И, несмотря на увечья, будущее виделось в розовом свете.

Маршал встретил меня приветливо. Спросил о моих планах. Услышав, что я собираюсь поступить в медицинский институт, возмущенно сказал:

— Ты, боевой танкист, превратишься в клистирную трубку? Да ты что, рехнулся? Слушай, лейтенант, говорят, что ты силен в математике, а?

Я ответил, что до войны успел окончить только девять классов, а на аттестат зрелости сдал сейчас экстерном, так что вряд ли меня можно назвать сильным в математике. Сидевший в стороне подполковник придвинул ко мне лист бумаги и карандаш и предложил стереометрическую задачу, настолько легкую, что я, решив блеснуть математическими способностями, дал

ответ, не прибегая к карандашу. Фанфаронство мое было наказано. К несчастью, оно произвело впечатление и на маршала, и на подполковника.

— Ну, лейтенант, под счастливой звездой ты родился. Хоть ты и инвалид, а демобилизовывать тебя не будем.

Я снова повторил, что хочу быть врачом. Маршал рассердился и стал объяснять, что в гражданской жизни мне придется голодно и туго, а тут — и зарплата, и звания, и обмундирование, и учиться буду, и диплом инженера получу, и только идиот может отказаться от всего этого. Я настаивал на том, что хочу быть врачом и имею право на демобилизацию.

— Право-то ты имеешь, да вот тут у меня лежит реляция на тебя, дурака. Сбежишь — закрою. Подумай.

Командир "мотокостыльного" батальона уже ожидал меня. Он осведомился, почему у меня такая постная физиономия. Я рассказал ему о приеме у маршала. Гвардии полковник молча долго смотрел на меня, потом вдруг сказал:

— Анклейф, ингелэ\*.

Значение слов мне, конечно, было понятно. Не понимал я только их смысла. Комбат заметил это и рассказал мне о том, как его еврейское происхождение мешало ему в детстве, и после, и даже сейчас. Рассказал, что все его товарищи-неевреи, даже значительно менее способные и не дважды Герои уже генералы, а он — все еще полковник.

— Анклейф, ингеле, нечего тебе, еврею, делать в армии. Конечно, жалко, если этот хозер прикроет реляцию, но, если ты будешь хорошим врачом, у тебя появится хоть какая-то независимость. Может быть, это и будет защитой от антисемитизма. А вспомнишь мое слово — он будет с каждым годом страшнее.

Очень странно было слышать такие речи из уст не серого обывателя, а уважаемого человека, дважды Героя Советского Союза. Я считал, что он возводит

\*Убегай, мальчик (идиш).

в степень неизвестную мне личную обиду и объясняет ее антисемитизмом.

Конечно, какая-то антисемитская отрыжка времен прошедшей войны еще ощущалась. Но она казалась мне нетипичной для советского строя и — главное — неофициальной.

Примерно, за месяц до разговора с гвардии полковником, будучи в отпуске, на пароме я переправлялся через Днестр из Атак в Могилев-Подольский. Лошади, подводы, люди. На пароме повернуться нельзя было, чтобы не задеть соседа. Вдруг невдалеке от себя я услышал: "Ах, ты, жьдивська морда!" Это обругал кого-то средних лет мужик с тяжелым мешком через плечо. Мешком он оперся о перила парома. Расталкивая стоящих на моем пути, я направился к мужику. Не выясняя, по какому поводу была произнесена эта фраза, не интересуясь, к кому она обращена, я положил костыли и, стоя на одной ноге, выбросил мужика с парома. В июле Днестр полноводный и невероятно быстрый. Мешок тянул ко дну. Течение увлекало в щель между понтонами. Вытянуть мужика из воды никак не удавалось. "Дядько, кыдай торбу!" Но мужик не мог расстаться со своим добром. Только видя, что погибает, он выпустил мешок и ухватился за багор. Оказалось, что в мешке была пшеница, которую на последние деньги он купил в Бессарабии. Мужик плакал и причитал. Мешок пшеницы в 1945 году! Все с ужасом смотрели на меня. Но вслух никто не смел осудить. Я был в гимнастерке с погонами, с орденами и медалями. Я был представителем армии, только что разгромившей фашизм, а мужик позволил себе антисемитский выпад.

Спустя несколько дней в Атаках я избил старшего сержанта с культей левой руки, по какому-то поводу возмущавшегося жидами. Не знаю, может быть, в конкретном случае он был прав по существу. Но форма! И здесь я чувствовал себя защищенным социальной справедливостью. Естественно, не может быть анти-

семитизма в советском государстве, где все национальности равны. Можно было даже возвратиться к предвоенному состоянию и перестать осознавать себя евреем.

Сейчас, вспоминая это время, я не могу понять, почему в Йом-Кипур я, атеист в ту пору, пошел в синагогу. В Черновицах стояла теплая осень. Уже за несколько кварталов трудно было пробраться сквозь огромную толпу евреев, не имеющих никаких шансов попасть в синагогу. Путь мне прокладывали костыли и ордена на гимнастерке. В синагоге даже уступили место. Совсем неожиданно недалеко от себя я увидел майора, который одно время был у нас командиром батальона. Только сейчас я узнал, что он еврей. На нем был китель с орденами и медалями. Один рукав за ненужностью был подвернут. Майор приветливо помахал мне своей единственной рукой. Кантор Зиновий Шульман растрогал меня своим пением. А может быть, это была совокупность впечатлений... Из синагоги я вышел торжественный и просветленный.

Сейчас, вспоминая этот день, я увидел дорогу от синагоги мимо находящегося почти рядом с ней еврейского театра. И развернулась цепочка ассоциаций. Еврейский театр... Чуть дальше, на площади располагался украинский музыкально-драматический театр. Богатое здание в стиле барокко выходило фасадом на широкую нарядную площадь. Праздничное настроение создавалось у зрителя уже при подходе к театру, когда по пологому пандусу или широким ступеням он поднимался к гостеприимному входу. Внутри все было нарядным и ярким. Красный бархат сидений. Белые пояса лож, обрамленных вычурным переплетением золотых виньеток. Дорогой тяжелый занавес под белым с золотом фронтоном. Все предвещало праздник еще до начала спектакля.

В одном квартале от украинского театра, на углу двух узких улиц, находилось ничем неприметное здание еврейского театра. Может быть, оно не казалось бы таким убогим, не будь у него роскошного соседа. Да и

внутри все было серым и уютным. Темный зал напоминал колодец. Иногда, когда я смотрел спектакли с галерки, видна была лишь авансцена. О том, что происходит в глубине сцены, можно было только предполагать. Казенные ряды сидений в партере. Ложи, как тюремные камеры. Деревянные скамейки галерки. В этом здании праздником даже не пахло. Праздник начинался, когда раздвигали неопределенного цвета занавес, такой же убогий, как и все в этом зале.

Как правило, до 1947 года зал был всегда переполнен. Приходили смотреть спектакли не только евреи. Помню на премьере "Скупого" профессоров университета неевреев, с томиками Мольера в руках, следящими за действием. Спектакль был французским во всех деталях. Его окутывало неуловимое облако своеобразного легкомыслия, характерного для французского ренессанса. И тут же тяжеловесный, насквозь русский (порой даже казалось, что артисты говорят не на идиш, а по-русски) "Васса Железнова". Героиню играла талантливая актриса Ада Солнц. Созданный ею образ мог бы украсить самый лучший русский театр. Традиционно-еврейские спектакли, такие как "Цвей кунилемл", "Колдунья", "Гершеле Острополер" были вообще выше всяких похвал. Эти спектакли запомнились мне как концентрация еврейского юмора и еврейской боли, еврейского мироощущения и человечности.

Мы знали, что Черновицкий еврейский театр ненамного хуже Московского еврейского театра. Но ведь закрыли Московский театр. И не просто закрыли. В ту пору мы уже не с полным доверием отнеслись к сообщению о гибели Михозлса в автомобильной катастрофе, тем более, что до нашей провинции докатились слухи об арестах артистов Московского еврейского театра, об арестах деятелей еврейской культуры в Москве и в Киеве.

Озноб проходит по моей спине, когда я вспоминаю холодные мокрые дни мрачной осени 1948 года. Этому предшествовала цепь партийных собраний, на которых



мы единодушно поддерживали родной Центральный Комитет в его борьбе против журналов "Звезда" и "Ленинград", против Ахматовой и Зощенко, против оперы "Великая дружба", против композиторов Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна.

Тучи нависали все ниже. Атмосфера сгущалась. Уже трудно было дышать. И, наконец, грянул гром. Началась борьба против космополитов. Я еще противился очевидному, считая, что это не обычная антисемитская кампания, а действительно политическая борьба за чистоту генеральной линии партии. Я еще радовался, находя в рядах космополитов нееврейские фамилии. Но уже в следующее мгновение мне разъясняли, что под благородной фамилией, например, Стебуна, скрывается какой-нибудь подлый Кацнельсон. Поэтому в городе приезд ликвидационной комиссии казался уже вполне закономерным. Нет, нет, ликвидационная комиссия не делала никаких политических или, не дай Бог, национальных выводов. Она просто должна была ликвидировать еврейский театр как нерентабельный.

Мне бы очень не хотелось, чтобы меня упрекнули в субъективизме, или еще хуже — в еврейском национализме, когда невольно придется сравнивать два черновицких театра — украинский и еврейский. Украинский областной музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской был действительно областным по масштабу, по налету провинциализма. Находясь в великолепном театральном помещении, он не шел ни в какое сравнение с театрами Киева — украинским и русским.

Еврейский театр имел свое творческое лицо. Такой театр мог украсить любую столицу. Каждая постановка традиционных ли еврейских пьес, инсценировок ли Шолом-Алейхема, мировой ли классики — все это было настоящим искусством, серьезной работой, творчеством. Помню только один, как мне кажется, срыв этого театра — спектакль "Восстание в гетто". Режиссером и главным героем спектакля был народный артист

Гольдблат, человек очень талантливый. Но, то ли текст пьесы ограничивал возможность сделать что-нибудь более достойное этого театра (я не настолько хорошо владею языком идиш, чтобы посметь критиковать произведения на этом языке), то ли просто произошел срыв. Увы, искусство не гарантировано от срывов. Герой спектакля был излишне крикливым, истеричным. Не таким представлялся мне Мордехай Анилевич, хотя у героя спектакля было другое имя. В моем сознании существовал героический защитник Массады, перенесенный в наше страшное время. Как и любой советский театр, Черновицкий еврейский театр не был свободен в выборе репертуара. Современная тема должна была иметь соответствующий удельный вес. Этим ли объясняется неудача "Восстания в гетто"? Не знаю. Смогли ведь отлично поставить памфлет Евгения Петрова "Остров мира".

Что-то символическое, какая-то мировая справедливость, какой-то еще неосознанный, неоткрытый закон сохранения чего-то видится мне сейчас, когда я вспоминаю этот спектакль. Смерть еврея Ильи Ильфа (Ильи Файнзилберга) была смертью любимого нами писателя Ильфа и Петрова. После смерти Ильфа Петров не написал ни одного значительного произведения. "Остров мира" тоже не отнесешь к вершинам советской литературы. Не знаю, какой еще театр поставил эту пьесу. Ведь "Остров мира" — скорее журналистика, а не драматургия. В ту пору театры, страшись какого-нибудь очередного "изма", еще не обращались к журналистике. А еврейский театр поставил. И блестяще поставил. До сегодня помню молодого талантливого Изю Рубинчика в роли царька в этом спектакле. Как надо было сыграть трудную роль без единого слова, чтобы сейчас, спустя тридцать с лишним лет увидеть этого смешного и несчастного царька! Как сложилась судьба Изи Рубинчика после закрытия театра? Куда делся талантливый еврейский актер, читавший мне на польском языке стихи еврея Юлиана Тувима?

Весть о прибытии ликвидационной комиссии с невероятной быстротой разнеслась по городу. Антисемиты ликовали, считая это (заодно с кампанией против космополитов) симптомом замечательных санкций против ненавистных жидов, недобитых немцами... Либеральные русские интеллигенты, как всегда, смущенно уходили от неудобной темы. Евреи поглупее, вроде меня, считали это очередным перегибом какого-нибудь высокопоставленного антисемита республиканского масштаба. Более разумные с завистью говорили об уехавших в Палестину румынских евреях и пророчески изрекали, что сейчас, мол, еще хорошо, а вот дальше что будет!

Ликвидационная комиссия присутствовала на четырех последних спектаклях еврейского театра. Я уже говорил, что формальной причиной ликвидации театра была его нерентабельность. Надо ли объяснять лживость этого аргумента? В отличие от нерентабельного украинского театра, существовавшего на дотации государства, что само по себе, я считаю, было справедливым, еврейский театр был на хозяйственном расчете.

Последние четыре спектакля... Я напрягаю память, но не могу вспомнить первый и второй. Отлично помню мелкий холодный дождь, огни фонарей в зловещем тумане, толпы евреев, за несколько кварталов от театра спрашивающих лишний билетик. У самого театра совсем не театральная, подавленная толпа сгущается, запрудив проезжую часть улицы. В самом театре яблоку негде упасть. Я сижу на приставном стуле в проходе возле последнего ряда. За моей спиной, плотно забив выход из партера, сгрудилась толпа не имеющих места. Между приставными стульями с трудом пробиваются запоздавшие счастливчики — обладатели билетов. В первом ряду за небольшим столом члены ликвидационной комиссии — четыре человека с типичной украинской внешностью (специально подобрали?) в вышитых сорочках, окрещенных "антисемитками". Перед каждым на столе стопка бумаги. Как и других,

меня интересует вопрос, понимают ли они идиш. Нет, я не могу вспомнить двух первых спектаклей, хотя отчетливо помню, что сыграны они были блестяще. А еще помню чувство подавленности после спектакля. И надежду, что комиссия не посмеет закрыть такой театр, да еще убедившись, какие у него сборы.

Третий спектакль — "Блуждающие звезды". Не помню, в какой уже раз смотрю эту великолепную инсценировку Шолом-Алейхема. Все тот же холодный дождь. Все те же зловещие фонари. Все те же толпы людей, полных отчаяния, ожидания и надежды. Мое место в ложе бенуар недалеко от сцены. Отсюда мне хорошо видны лица членов ликвидационной комиссии. Время от времени сидящие за ними во втором ряду администратор и какой-то незнакомый мне мужчина что-то объясняют им. Иногда мне даже кажется, что ликвидационная комиссия понимает идиш, потому что в местах, в которых чуткий наэлектризованный зал замирает или единым вздохом выражает свою реакцию, и на лицах комиссии появляется подобие человеческого чувства. В антрактах большинство зрителей остается на своих местах. Обычно шумливая еврейская публика сейчас угрюмо-молчалива.

Предпоследний акт. Небольшое зеркало сцены стало еще меньше, зажатое талантливыми декорациями. В мрачной тесной камерке под полуразвалившейся лестницей умирает покинутый всеми Гоцмах. Артиста Нутера я видел во многих ролях. Он играл Колдунью и мольеровского Скупого. Он играл роли и острохарактерные, и комичные, и роли резонеров, и положительных героев. Большой артист большого диапазона. Но до такого трагизма Нутер еще никогда не поднимался. Каждое движение кисти руки, каждое усилие мимических мышц лица были выражением мучительно рвущегося из души подтекста. И когда, подавляя кашель, Нутер произнес свою последнюю фразу: "Что такое Гоцмах без еврейского театра?!", когда агонирующий Гоцмах замер на куче тряпья, служившем ему

ложем, когда поспешнее, чем обычно, опустился занавес, зал разразился рыданием. Я видел, как один из членов ликвидационной комиссии стыдливо пальцем смахнул слезу.

Уже зная то, чего я еще не рассказал, я иногда задавал себе вопрос, возможно ли так сыграть смерть Гоцмаха только при помощи даже самой феноменальной артистической техники? Трудно ответить на этот вопрос. В бессознательном состоянии Нугера со сцены отвезли в больницу. Врачи спасли его жизнь. Но уже никогда не существовал артист Нугер. Смерть Гоцмаха была его лебединой песней.

На следующий день в перерывах между лекциями в институте разговор о спектакле "Блуждающие звезды" случайно или не случайно размежевал студенческую среду. В группах обсуждающих спектакль оказались только евреи. Возможно, тема была причиной этого размежевания?

Последний спектакль — оперетта Исаака Дунаевского "Вольный ветер". Толпы евреев, тщетно пытающихся достать билет, или другим путем пробраться на спектакль, вылились из улицы на мокрый от дождя узорами выложенный торцовый камень Театральной площади — площади перед украинским театром. Потом рассказывали, что в эти дни спектакли украинского театра шли почти при пустом зале. С трудом протискиваясь сквозь толпу, я заметил знакомого офицера министерства гос. безопасности в гражданском одеянии. И еще одного — уже почти у входа в театр. Надо ли объяснять, что не всех черновицких эмгебешников я знал в лицо. Со ступенек театрального подъезда я увидел напротив, на улице Леси Украинки, группу мокнувших под дождем милиционеров.

В зале публика наэлектризована до предела. Каждая реплика, даже отдаленно намекающая на судьбу еврейского театра, встречается оглушительными аплодисментами и возгласами. Ликвидационная комиссия явно испугана. В отличие от предыдущих вечеров, даже

не симулирует какой-либо деятельности. Мелодия марша, завершающего последнюю сцену, сопровождается скандирующими хлопками и топотом ног всего зала. Наверху, не то в ложе второго яруса, не то на галерке молодые голоса подхватили песню. Мелодия разрастается. Поет уже весь зал. Израильскому читателю это может показаться обычным. В Израиле зал подхватывает песню иногда даже в случаях, когда это мешает услышать исполнителя. Но в Советском Союзе, где в театральном помещении не может быть произнесено ни единого слова, не проверенного и не утвержденного цензурой, где зрителям разрешают только аплодировать и выкрикивать "бис" или "браво", запеть песню было демонстрацией само по себе.

Когда затихла музыка на сцене, прорываясь сквозь аплодисменты, сверху снова полилась песня. Ее подхватили на сцене, в партере, в ложах. Так повторялось несколько раз. Артисты все снова и снова выходили на бесчисленные вызовы. На лицах евреев светилась надежда. На что? Не знаю. Знаю только, что я надеялся вместе со всеми.

Черновицкий еврейский театр перестал существовать. Это событие, как взлет сигнальной ракеты, послужило в городе началом разнузданного антисемитизма, который очень скоро проявился в нашем институте. Но об этом я расскажу в следующей главе.

В ту пору я окончательно почувствовал себя евреем, почувствовал национальную гордость от принадлежности к своему преследуемому народу, почувствовал боль от того, что столько недостойных евреев дают пищу и без этого не голодающим антисемитам.

Несмотря на большую разницу в возрасте, после войны мы очень сдружились с главным художником Киевского украинского драматического театра имени Франко. Старый еврей жил искусством. Всей душой и телом он был предан украинскому театру. Но где-то в закоулках его сердца гнездилась тоска по исчезнувшему еврейскому быту, культуре. Часто, разговаривая

со мной, он как бы машинально карандашом или мелком рисовал евреев в ермолках, головки пейсатых мальчигов, силуэт козы на типичной улочке еврейского местечка. Как жаль, что я тогда не забрал тут же уничтожаемых им рисунков. Впрочем, что бы я с ними сделал? Не дали ведь вывезти специально для меня написанный им натюрморт. Натюрморт со смыслом, понятным только нам двоим. Много интересных вещей о живописи, о театре узнал я от старого художника. От него я впервые услышал о "Габиме".

Однажды, придя к нему, я увидел, как он накладывает последние мазки на большое полотно. На фоне кособоких домишек, двориков с чахлой растительностью, развевающегося на ветру ветхого белья стоял Шолом-Алейхем с пальто, переброшенным через руку, и шляпой в другой руке. Композиция, освещение, колорит! Картина была бы просто очень хорошей, если бы не одна деталь, делающая ее прекрасной — лицо Шолом-Алейхема. С какой грустью, с какой болью и любовью он смотрел на раскинувшееся перед ним убожество! Это был взгляд моего друга, старого художника, в минуты, когда, рассказывая о своем детстве и юности, о любительских еврейских театрах и "Габиме", он набрасывал свои добрые, а иногда ироничные рисунки. С восторгом я смотрел на эту картину, безусловно, вершину творчества художника Матвея Драка.

Зазвонил телефон. Старый художник снял трубку. Не стану сейчас говорить о причинах, обвинять того или другого, но как раз в это время в семье Матвея Драка произошел раскол. Телефонный разговор с ближайшим родственником становился все острее. И вдруг я увидел, как старый человек, бледнея, сползает вниз вдоль стены. Я подхватил его, усадил и взял трубку телефона. На том конце провода продолжали говорить:

— Я еще раз повторяю, если ты не выполнишь моих условий, я заявлю, что ты — еврейский националист,

что ты пишешь портрет Шолом-Алейхема.

Что я сказал тому, на том конце провода, описывать не стану, потому что это не поддается и не подлежит описанию. Как мог, успокоил старика и, считая, что сделал все возможное, ушел домой. На следующий день, придя к старому художнику, я был потрясен до глубины души. Матвей Драк всю ночь работал, уродуя лучшее свое детище. Он замазал Шолом-Алейхема все теми же кособоковыми домишками и убогим тряпьем. Картина перестала существовать.

Часто в эти страшные дни и уже значительно позже я вспоминал знаменательный разговор после приема у маршала Федоренко. Что стало с гвардии полковником? В армии ли он еще или демобилизовался. Где-то году в шестидесятом случайно узнал, что он служит в Днепропетровске в звании генерал-майора. Его товарищи уже давно генералы армии и маршалы, а он, самый талантливый, самый храбрый из них, все еще генерал-майор. Ну что ж, все естественно. Сейчас мне уже не казался странным его вырвавшийся из глубины души возглас: "Анклейф, ингеле!" В Киеве, в атмосфере матерого антисемитизма, меня уже давно ничто не удивляло, даже черная неблагодарность к одному из храбрейших комбригов Отечественной войны. Удивило, нет, не просто удивило, — потрясло — нечто совершенно другое.

Однажды в "Правде" я прочел большую дурно пахнущую статью, в которой автор обрушился на тех, кто говорит о каком-то несуществующем в СССР антисемитизме. Я бы отнесся к этой привычной стряпне, как к еще одной порции дерьма, если бы не подпись автора статьи — Давид Драгунский. Долго я не мог прийти в себя.

Давид Драгунский, дважды Герой Советского Союза, гвардии полковник, в подразделении которого я служил в августе 1945 года? Не может быть! Давид Драгунский, объяснявший мне, неверящему в это, что надвигается волна антисемитизма, сейчас, после всего,



что мы пережили, после борьбы с космополитизмом, после уничтожения еврейской культуры и физического уничтожения деятелей этой культуры, после дела врачей-отравителей, после ежесекундного проявления антисемитизма во всех сферах жизни подписывает грязную статью, сфабрикованную черносотенцами? Мне было больно и стыдно за глубоко уважаемого мною человека. И когда жена и сын, когда мои друзья — все те, кто много раз слышал от меня рассказ о Драгунском, когда они с упреком спросили меня, как это могло случиться, я растерялся. Вероятно, пытался я оправдать Драгунского, статью подписали без его ведома, как это нередко делают, а там — военная дисциплина, партийная дисциплина, пятое, десятое... Но и сам я не очень верил своему объяснению.

Через несколько дней все стало на свои места. По телевидению показали знаменитую пресс-конференцию, по поводу которой потом циркулировало множество анекдотов. (Один из них: Что такое пресс-конференция? Это тридцать евреев под прессом. Тоже своеобразная попытка оправдать недостойное поведение.) Одной из видных фигур на этой конференции был генерал-полковник (наконец-то очередное воинское звание вместо тридцати сребреников) дважды Герой Советского Союза Драгунский. Его трудно было узнать. Нет, не потому, что он постарел. И тогда, в 1945 году, мне, двадцатилетнему лейтенанту, он казался почти стариком. Все относительно. Нет. Тогда он был человеком, героем, личностью. Даже в детстве он был личностью. Когда в их классе девочка обозвала его жидом, он, зная, что нельзя бить женщин, выплеснул ей в лицо чернила. Сейчас это была жалкая марионетка в компании марионеток. Сейчас его окунули в дерьмо по самые уши, а он радовался запоздавшему на двадцать лет очередному воинскому званию.

В этот вечер навсегда перестал существовать для меня комбриг Драгунский. В этот вечер я окончательно понял, что военное и гражданское мужество —

величины несравнимые.

Спустя некоторое время Драгунский с группой таких же подонков-евреев приехал в Брюссель, где в эту пору проходил сионистский конгресс. Приехали они доказывать, как изумительно живет еврей в Советском Союзе. Группа остановилась в гостинице вблизи цирка, в котором в это время выступали советские артисты. Хорошие артисты. На афише цирка какой-то остряк написал: "Драгунский с группой дрессированных евреев". Драгунский и дальше погружался в трясину подлости. Но именно этот факт я вспомнил только потому, что фраза на афише с одинаковым успехом могла быть написана и сионистом и антисемитом. Дважды два всегда и везде четыре. Альберт Эйнштейн как-то сказал, что евреи не лучше других, не хуже других, они просто другие. Это высказывание служило мне некоторым утешением, когда я встречал евреев-подлецов, евреев-подонков.

Слабым утешением оно служит и сейчас, когда в еврейском государстве я вижу избыточное количество евреев-подонков, разрушающих свою страну, свое единственное в мире убежище.

## СТУПЕНИ ВОСХОЖДЕНИЯ

Предо мной фотоальбом нашего курса — ”6-й выпуск врачей Черновицкого Государственного медицинского института, 1951 г.” Впервые этот уже несколько потертый альбом, разбухший от многочисленных дополнительных фотографий последующих встреч, не просто источник эмоций, воспоминаний, ассоциаций, а объект социологического исследования.

Могут возразить, что единственный курс не очень удачный объект, так как в какой-то мере он может быть исключением, и выводы, которые будут сделаны в результате исследования, нельзя распространить на другие подобные объекты. Возражение было бы серьезным, если бы не одно обстоятельство. Начал я заниматься не на этом курсе.

В 1945 году меня приняли на лечебный факультет Киевского медицинского института. Но в послевоенном Киеве общественный транспорт почти не функционировал. Расстояния между кафедрами были огромными даже для вполне здорового студента, а я передвигался с помощью костылей. Мне предложили перевестись в Черновицы, где все было компактнее и удобнее. Таким образом я познакомился еще с одним курсом. После окончания второго семестра целый год мне пришлось пролежать в госпитале — сказались результаты ранений. Потеряв столько времени, я уже

не вернулся на свой курс. Таким образом, я имел возможность быть в трех различных коллективах, чрезвычайно похожих по количеству фронтовиков и пришедших в институт после окончания школы, похожих по национальному составу. Я жил в университетском общежитии и мог бы написать, что подобная структура в ту пору была и на различных факультетах Черновицкого университета. Но пишу только о том, что знаю абсолютно достоверно.

В первые послевоенные годы даже мысль о подобном исследовании показалась бы мне абсурдной, хотя, как я уже писал, фронт проявил мою национальную сущность. Возвращение к мирной жизни давало повод для радужных надежд. С фашизмом навсегда покончено, а ведь антисемитизм — одно из проявлений фашизма, если быть более точным — немецкого нацизма.

При поступлении в институт я не видел никаких признаков национальной дискриминации. Наш выпуск это — 302 врача. Из них — 102 евреи (33,8%). Это был естественный процент, обусловленный, вероятно, только конкурсом знаний. Уже через несколько лет, когда будут введены негласные национальные и, так называемые, мандатные барьеры, процент евреев в ВУЗ'ах упадет до минимума, а в некоторых — будет равен нулю. Собственно говоря, уже в 1945 году существовали ВУЗ'ы, в которые не допускали евреев, но так как это были единичные заведения, вроде института внешних сношений, дискриминация не бросалась в глаза, на нее еще не обращали внимания. В ту пору, перечисляя национальный состав нашего курса, не считали неудобным сказать, сколько студентов-евреев. На торжественном выпускном вечере в июне 1951 года, когда нам вручали дипломы, в актовой речи было сказано: "Русских — столько-то, украинцев — столько-то, представителей других национальностей — столько-то". Слово еврей стало уже неприемлемым.

Незадолго до моего отъезда в Израиль я беседовал с очень видным руководителем науки на Украине (это

вовсе не значит, что он очень видный ученый, хотя именно в таком качестве его представляют партийные деятели. На замечание о проценте евреев в ВУЗ'ах, он ответил мне стандартной фразой антисемитов: "А сколько их работает в шахтах?" Тогда я рассказал ему о двух моих пациентах.

Первый из них — еврейский парень, богатырь, романтик, после окончания школы пожелал пойти работать в шахте. Преодолев сопротивление родителей, он поехал на Донбасс. Уже через год его считали лучшим забойщиком в шахтоуправлении. На поверхности он был окружен почетом. А под землей, в шахте попал в атмосферу матерого разнузданного антисемитизма своих товарищей по забое. Кончилось тем, что на него толкнули вагонетку с углем. Он успел увернуться, но нога попала под колесо. Я оперировал его по поводу ложного сустава костей голени после открытого перелома. Никто не понес наказания, так как у него не было свидетелей, а мотивация преступления — антисемитизм — отвергалась как гнусный поклеп на социалистическое общество.

Второй случай очень похож на первый. Но здесь вообще не было прямых улик, что это — покушение на убийство. Обвал в забое квалифицировали как возможную (но недоказанную) небрежность крепильщика. Молодого человека я лечил по поводу компрессионных переломов трех поясничных позвонков. Высокопоставленный деятель от науки отмахнулся от этих фактов так же, как и от упоминания, сколько евреев-станочников работает на заводах "Арсенал", "Большевик", "Красный экскаватор" и на других крупных и мелких предприятиях Киева. Уже знакомая картина: так же реагируют на факты участия евреев в войне. Но даже будь прав деятель от науки в вопросе о количестве евреев, работающих в шахтах, почему в самой демократической в мире стране это количество должно быть каким-то обязательным исходным показателем? Почему бы таким показателем не сделать процент

шахматных гроссмейстеров или, скажем, процент композиторов?

Процент так процент. Поэтому вернемся к нашему курсу. Из 302 выпускников 84 были фронтовиками (27,8%). Из 84 фронтовиков — 29 евреи. Таким образом, студентов-евреев на курсе 33,8%, евреев-фронтовиков среди всех студентов-фронтовиков — 34,5%,

то есть значительно больше, чем русских или украинцев. И еще один показатель для сравнения: фронтовиков-неевреев (русские, украинцы и другие вместе взятые) среди студентов-неевреев — 27,2%, фронтовиков-евреев среди студентов-евреев — 28,4%. Могу поспорить, что таких красноречивых цифр вы не найдете ни в одной советской статистике, ни для внутреннего употребления, ни для опубликования на наивном Западе. А о том, как от своего народа скрывают многие факты, сообщаемые Западу, я еще надеюсь рассказать.

Приведенные цифры дают некоторое представление о количестве. А теперь несколько слов о качестве. Но прежде всего должен сказать, что с глубоким уважением отношусь к моим однокурсникам-фронтовикам русским, украинцам, представителям других национальностей, ко всему, что они сделали и пережили на фронте.

Я уже писал, что евреям на войне было труднее, что награждали их хуже, если вообще награждали. И, вопреки всему этому, на нашем курсе наблюдался забавный парадокс: самый большой военный орден — орден Красного знамени был только у еврея; из трех кавалеров двух орденов Славы — три были евреями. Еврей-фронтовики составляли только 34,5% всех студентов-фронтовиков. Процент евреев инвалидов Отечественной войны был равен 62,5 (5 из 8). Ни одного добровольца не было среди студентов-украинцев. Подавляющее большинство из них призывалось в армию полевыми военкоматами по мере освобождения Украины от оккупации, так как они уже давно достигли призыв-

ного возраста. Несколько моих однокурсников-евреев ушли добровольно на фронт задолго до достижения призывного возраста. Можно добавить, что из пяти танкистов все пять были евреями (два из них — доктор Коган\* и автор — сейчас в Израиле), что среди евреев нашего выпуска был командир стрелкового батальона (мой друг доктор Мордехай Тверски, кавалер советских, польских и чешских орденов, сейчас житель Бат-Яма), и командир штрафной роты, и командир роты саперов, и командир противотанковой батареи, и еще три пехотинца, награжденные орденом Славы (один из них — мой земляк и друг, доктор Михаэль Волошин — живет в Герцлии). Сколько интересного о боевых делах однокурсников-евреев я мог бы рассказать! Но разве эти рассказы убедят антисемитов? И вообще, что их может убедить?

До 1947 года на нашем курсе даже при самом тщательном наблюдении нельзя было заметить размежевания по национальному признаку. Это был, так мне по крайней мере казалось, коллектив единомышленников. Некоторая неуютность появилась у евреев во время кампании борьбы с космополитами. Почти всем было понятно, что космополит — синоним слова еврей, что кампания попросту антисемитская. Мы чувствовали только неуютность потому, что еврей, конечно, сволочи, но ведь на курсе мы были своими евреями, то есть хорошими жидами, непохожими на других. Но ликвидация Черновицкого еврейского театра была прорывом плотины, сдерживавшей самые затаенные, самые низменные инстинкты. В ту пору я лично почувствовал антисемитизм в физическом смысле, так как из драки в институтской библиотеке, в которой на стороне евреев были только Захар Коган и я, хотя и победителем, но я вышел с "фонарем" под глазом.

Однажды на очередной "мальчишник" мы пригласи-

\* Д-р Захар Коган, как уже написано, скоропостижно скончался 13 июня 1983 года.

ли весьма уважаемого нами доцента. Как и обычно, "мальчишник" проходил интересно и весело. Когда уже было выпито изрядное количество водки, доцент неожиданно спросил:

— Ребята, а почему вы в таком составе?

Мы не поняли.

— Почему здесь собрались только евреи?

Лишь сейчас мы заметили, что на "мальчишнике" случайно оказались только евреи, хотя один из них числился украинцем.

— Дмитрий Иванович, — ответили мы, — здесь ребята только из нашей группы. Есть еще два нееврея. Вы бы хотели их видеть за нашим столом?

— Нет, я их тоже не люблю.

Разговор на эту тему казался исчерпанным. Но вскоре он оказался перенесенным на открытое партийное собрание. Никогда не забуду этого собрания. Участники "мальчишника" сидели в роли подсудимых, прибитые, не понимающие происходящего. Нееврейская часть группы жаждала крови. Дай им сейчас возможность, они учинили бы небольшой еврейский погром, пока что в рамках одной академической группы. Скромная интеллигентная русская девушка, с которой мы всегда были добрыми друзьями, выступая, превратилась в фурию. Она обвиняла еврейского парня в сионизме только потому, что добрые дружеские отношения он не превращал в нечто более интимное по причине, как она считала, еврейского национализма. К сожалению, поддержала ее да и других, жаждущих крови, славная умная еврейская девушка, на свое несчастье, полюбившая подонка. Ослепленная этой любовью, она считала причиной нашего осуждения не то, что ее избранник — подонок, а то, что он — нееврей. В своей роковой ошибке она убедилась, став женой, а затем выгнав этого недостойного человека, о котором в институте упорно говорили, что при немцах он служил в полиции, но избежал наказания, искупив свой грех пребыванием на фронте в последние



недели войны.

С этого дня, пока еще только в институте, я стал числиться сионистом, хотя даже не помышлял о сионизме. Группу расформировали. Мать и сестра покойного Гриши Шпинеля, в доме которого состоялся тот памятный "мальчишник", уже давно живут в Израиле. Нет сомнения, что был бы здесь и Гриша... Пока из нашей группы в Израиле четыре человека — доктор Юкелис, доктор Коган, профессор Резник и я. Еще долго после описанного собрания мы не были сионистами. Но не оно ли явилось той первой ступенькой, по которой началось наше восхождение?

Размежевание курса по национальному признаку достигло своего апогея при распределении на работу перед окончанием института.

Продолжаю рассказ об исследовании, объектом которого стал фотоальбом. Из 302 студентов 19 окончили институт с отличием. Вы помните, процент евреев на курсе — 33,8. Примерно, таким должен быть процент евреев среди окончивших институт с отличием. Нет, не таким. Как и на фронте, в мирной жизни еврей обязан быть лучшим, если мечтает удостоиться хотя бы равных прав с неевреем. Из 19 человек, окончивших институт с отличием, — 14 — евреи (73,7%). Надо полагать, что при распределении должны были учесть этот фактор и хоть кого-нибудь из отличившихся евреев рекомендовать для научной работы, тем более, что все пять неевреев, окончивших с отличием, и около десяти, отличия не удостоенных, были рекомендованы в аспирантуру или ординатуру? Нет, ни одного. На пути евреев в науку стоял шлагбаум, на котором пока еще не было надписи "ферботен".

В ту пору за свое сенсационное открытие в биологии Сталинской премии первой степени был удостоен Бошян. Одна принадлежность к банде Лысенко делала его неуязвимым для научной критики. А тут еще Сталинская премия! И вдруг зимой 1950 года (!!!) мы, студенты 5-го курса, читаем объявление о том, что на

открытом ученом совете будет сделан доклад заведующего кафедрой микробиологии профессора Калины и студента нашего курса, критикующих так называемую теорию Бошняна.

За три года до этого Борис пришел к профессору Калине и сказал, что хочет стать микробиологом. Всем было известно, как трудно сдать экзамен по микробиологии. К тому же у профессора были серьезные основания для подозрительности. Решив, что это трюк студента, профессор заявил, что у него не существует никаких научных кружков и прочего очковтирательства. Вот сдадите микробиологию, тогда и приходите. На это Борис ответил, что уже сейчас может сдать экзамен. Профессор посмотрел на него с недоверием и предложил, если у студента такая тяга, в свободное время приходите на кафедру. В течение трех месяцев Борис мыл пробирки, убирал клетки с морскими свинками и выполнял другую грязную работу на кафедре. Профессор, казалось, не обращал на него никакого внимания, а в действительности тщательно следил, испытывая его терпение. Наконец, убедившись в том, что у студента действительно серьезные намерения, профессор предложил Борису начать научную работу. Оказывается, у студента уже была идея. К концу третьего курса он сделал то, над чем безуспешно бились многие исследователи. По весомости это была хорошая кандидатская диссертация.

И вот сейчас профессор и студент на ученом совете докладывают уже совместную работу, критикующую лысенковца, да еще лауреата Сталинской премии.

Стоит привести полностью первые фразы этого доклада, потому что, помимо всего прочего, они имели большое воспитательное значение. Смысл этих фраз стоило бы взять на вооружение руководителям научных работ. 'Настоящее исследование выполнено (профессор назвал фамилию Бориса) и мною. Во время экспериментов и обсуждения результатов не было руководителя и руководимого. Были два равноправ-

ных соавтора. Все, что делалось одним из нас, тщательно проверялось другим. Я начинаю доклад теоретической предпосылкой, а практическую часть доложит соавтор. С равным успехом мы могли бы поменяться местами". Обе части доклада были сделаны безупречно. Заключительная фраза — "Таким образом, все, что верно в работе Бошняна, не ново, а все, что ново, неверно", — была встречена аплодисментами аудитории. Это был научно обоснованный бунт против официальной лысенковско-сталинской биологии. Это было началом конца Бошняна.

Занимаясь все время микробиологией, Борис окончил институт без отличия, он не был в числе девятнадцати. Правда, к окончанию института это был уже сложившийся ученый. Никто не сомневался в том, что его оставят на кафедре микробиологии. Но не оставили. Место аспиранта кафедры заняла одна из девятнадцати, вполне серенькая русская девушка, добросовестная и усидчивая, на "отлично" сдавшая экзамены и в равной мере имевшая возможность стать аспиранткой любой кафедры, так как ни одной из областей медицины она не отдавала предпочтения. Забегая вперед, скажу, что почти в положенное время в тепличных условиях она сделала никому ничего не дающую заурядненькую кандидатскую диссертацию, а затем, опекаемая и лелеемая, защитила докторскую диссертацию, не отличающуюся от кандидатской по научной ценности.

Вероятно, то, что я сейчас пишу об учениках профессора Калины, ему было известно еще тогда, когда мы были студентами. Не знаю, как профессор относился к евреям (не внешне, а в душе), но знаю, как любовно он относился к науке. Поэтому Калина поехал к министру здравоохранения в Киев, и после долгих мытарств добился того, что ему разрешили взять Бориса на кафедру. Нет, не аспирантом, а простым лаборантом. Но через несколько месяцев Бориса с треском вышибли с этой мизерной даже для посредственности должности. Сфабриковали абсурдное дело. Бориса

исключили из комсомола и выгнали с работы. Профессор Калина пытался отстоять своего любимого ученика, но ему и подобным на этом примере показали, что всякая попытка противостоять генеральной линии партии обречена на провал. Бориса направили в глухое село Черновицкой области на должность судебно-медицинского эксперта.

В одно прекрасное утро ко мне в Киев (я работал тогда в ортопедическом институте) приехал Борис с просьбой сконструировать ему термостат, работающий не на электрической энергии, так как село, в котором он жил, еще не вступило в двадцатый век. Тогда-то я и узнал о сфабрикованном против него деле. Оно было настолько абсурдным, что не должно было сработать даже в то черное время. Но сработало. Речь шла о воровстве пробирок с возбудителями особо опасных инфекций для диверсии против черновичан. Если бы даже намек на что-нибудь подобное имел место, Борисом занялась бы не партийная организация, а органы безопасности. Но какое это имеет значение! Борис узнал, что сценарий фальшивки создавался не без участия аспирантки-однокурсницы, но не обвинял ее, так как не располагал абсолютно достоверными данными о ее участии. И здесь сказался ученый.

Кстати, об однокурснице. Я ее тоже не обвиняю. Вы представляете себе, как трудно было ей, серенькой, на кафедре? Каково ей, аспирантке, было чувствовать несравнимое превосходство над собой какого-то лаборанта, да к тому же еврея. Меня лично восхищает ее благородство. Другие на ее месте шли до логического конца — до физического уничтожения соперника.

Из глухого, забытого Богом села Борис привез в Москву диссертацию, ценный вклад в науку, по определению крупнейших микробиологов страны. И уже работая в Москве, защитил докторскую диссертацию, еще более весомую, значительно более ценную работу.

Но вернемся к статистике. При всем при том, что ни один еврей не был рекомендован на научную работу,

15 из 102 защитили кандидатскую диссертацию (14,7%). Из 200 русских, совместно с украинцами, кандидатскую диссертацию защитили только 13 (6,5%). Несмотря на протекционизм по отношению к русским и украинцам, несмотря на дискриминацию евреев, процент последних в два с лишним раза превышает процент неевреев. Из 15 кандидатов-евреев 7 человек затем защитили докторскую диссертацию\* (6,9%). Из 13 русских и украинских кандидатов докторами наук стали 6 человек (3%). И здесь более чем вдвое процентное превосходство евреев. Но это только количественная сторона. А качественная?

Один пример уже приведен. Он не исключение, а правило. Кандидатская диссертация моего однокурсника-украинца (он не из числа девятнадцати) не просто, скажем, позавчерашний день хирургии, а нечто, неподдающееся определению. В середине пятидесятых годов он предлагал травматологам лечить раны фталазолом. (Для непосвященных: создать, например, авиационный двигатель, приводимый в движение силой рук экипажа, состоящего из грудных младенцев. Или еще что-нибудь в этом роде.) И еще одна деталь. Предполагается, что закончивший институт, до этого также окончил школу, следовательно, более или менее грамотно и членораздельно может изложить свои мысли. Диссертант попросил меня отредактировать его работу. Естественно, я не мог отказать однокурснику в том, что делал для других. Но уже первые страницы привели меня в замешательство. Дело даже не в том, что в слове из трех букв он умудрялся сделать четыре ошибки. Это просто была не человеческая речь. Я посоветовал диссертанту обратиться к профессиональному редактору. Потом редактор не могла простить мне того, что я порекомендовал ее моему однокурснику.

\* Во время празднования 35-летия со дня окончания института, в июне 1986 г., я узнал о том, что еще один еврей защитил докторскую диссертацию.

Ей пришлось выверять даже цитаты. К этому времени упомянутый врач стал важным начальником в министерстве здравоохранения Украины. Грешен — я написал его первую докладную записку. И уже в качестве начальника без особых усилий защитил (Боже мой, какое слово! Разве ему надо было защищать, если его самого защищала должность!) докторскую диссертацию. Руководимым мною диссертантам я запретил бы такую работу представить даже в качестве простой журнальной статьи.

А теперь, для сравнения, путь моего друга — земляка-однокурсника Семена Резника. Он не просто был в числе девятнадцати. Всех поражала его трудоспособность, его глубокие знания, его желание докопаться до самого корня проблемы. Помимо всего, Сеня был в центре общественной жизни курса. Разумеется, его не рекомендовали в аспирантуру или ординатуру, а послали в глухой шахтерский город на Донбассе. Там хирург Резник, работая в больнице сутками, нашел время сделать кандидатскую диссертацию. В Снежном, среди повального пьянства, оперируя до изнеможения, молодой врач нашел нечто абсолютно новое, неизвестное до его исследования. Приехав в Киев, Сеня показал мне главы своей еще неоформленной диссертации. Меня поразило, что он взялся за вопрос, от которого отмахнулись хирурги-травматологи.

В лучших советских фильмах мы видели шахты — подземные дворцы. Резник видел, как несчастные шахтеры работают в мокром тесном забое, стоя на локтях и коленях. Распрямиться нет возможности. Резник предложил не только новое в диагностике и лечении травматических бурситов, возникающих от работы в жутких условиях, но и профилактику их. Конечно, вечно пьяные шахтеры, матерящие все на свете, но в первую очередь жидов, повинных в их несчастьях, боготворили доктора Резника. Он ведь не похож на остальных евреев. Хирург из захолустья стал ассистентом кафедры хирургии Донецкого медицинского ин-

ститута, но не потому, что во время "оттепели" изменилось отношение к евреям. Просто кафедре нужен был хотя бы один сильный хирург и ученый. А на Донбассе уже знали Резника. С блеском защищена докторская диссертация — новое слово в хирургии желудка. Резник — второй профессор кафедры хирургии. Советская официальная статистика может выставить Резника в витрине, как яркое доказательство подлого злопыхательства и козней сионистов, говорящих о каком-то немислимом антисемитизме, о какой-то несуществующей дискриминации евреев. Может ли дискриминируемый еврей в сорок лет стать профессором?

Да, действительно, вопреки всему, своим упорством, умноженным на способности, Резник, как танк, пробился в профессуру. Казалось, все трудности уже преодолены. Но как ему жилось в новом качестве? Поскольку советская официальная статистика не отвечает на подобные вопросы, придется мне взять на себя эту функцию. Еврея терпели в роли ассистента, работающего на заведующего кафедрой. Но когда он стал профессором, заведующий почувствовал в нем опасного конкурента, очень опасного, так как врачебная и научная квалификация второго профессора была выше соответствующих у первого. Но у второго профессора очень удобный изъян — он еврей, следовательно, над ним можно безнаказанно издеваться. Три года профессору-хирургу почти не давали возможности оперировать.

В ту пору множество кафедр хирургии в различных городах объявляли конкурс на замещение вакантной должности. Заведующих кафедрами хирургии со степенью доктора медицинских наук не хватало. О комедии, называемой "конкурс", я еще расскажу. Поэтому следует ли удивляться, что для профессора Резника нигде не находилось места. Наконец ему великодушно предложили занять кафедру в Тюмени.

Говоря о разгоне нашей академической группы после ликвидации еврейского театра, я заметил, что это

была первая ступень на лестнице восхождения. По многим подобным ступеням прошел мой земляк, мой друг и однокурсник, пока завершилось его восхождение. Со свойственным ему упорством он воевал с ОВИР'ом, дважды ездил в Москву к заместителю министра внутренних дел, отстаивая свое право уехать в Израиль. Теперь профессор Резник заведует хирургическим отделением больницы в Афуле. Сейчас при встречах я вижу помолодевшего счастливого человека.

Летом 1953 года самолетом санитарной авиации мне пришлось вылететь в один из городов Житомирской области. У электромонтера, упавшего со столба, перелом позвоночника с параличом ног. Необходима срочная операция. Старый хирург, главный врач больницы, никогда не оперировал на позвоночнике. Из Киева вызвали ортопеда. К моменту моего прилета в больнице все было приготовлено для операции. Обследовав больного, я, конечно, согласился с мнением значительно более опытных врачей провинциальной больницы и буквально через несколько минут приступил к операции. Ассистировал старый хирург. Отлично ассистировал. Операция шла под местным обезболиванием. В самый ответственный момент, когда началась манипуляция на спинном мозгу, сдавленном излившейся при переломе кровью, я услышал за своей спиной мешающее мне сопенье. Я недовольно оглянулся. Нависая надо мной, на деревянной подставке стоял какой-то мужчина, под халатом которого на плечах угадывались погоны. Глаза над высоко надвинутой маской улыбнулись мне. Я был недоволен тем, что меня отвлекают (а, может быть, тем, что не мог определить, кто это — военный врач или какой-нибудь чин государственной безопасности, тем более, что в ту пору у меня были основания для подобных опасений).

Сразу же после удаления сгустков крови у пациента появилась чувствительность в определенных местах. Это был великолепный симптом, позволяющий надеяться на самый благоприятный исход. Операция закон-



чилась в атмосфере всеобщей приподнятости — и оперирующих, и пациента, и наблюдающих. Не успел я снять перчаток, как оказался в объятиях обладателя погон. Он снял маску, и я увидел моего однокурсника Илюшку.

Много фанатиков мне приходилось встречать. Но Илюшка, кажется, превосходил всех мне известных. Он был фанатично влюблен в акушерство и гинекологию. Еще будучи студентом, дни и ночи проводил в акушерской клинике. Уже в ту пору опытных гинекологов поражало его умение, его чуткие руки, его глубокое знание предмета. Завудующий кафедрой акушерства и гинекологии обожал Илюшку. Но, в отличие от Калины, профессор с испорченной пятой графой не рискнул поехать к министру, чтобы оставить у себя талантливого еврея. Илюшка с оптимизмом смотрел в будущее и не ожидал никаких огорчений при распределении, так как был готов поехать в любую дыру, лишь бы работать акушером-гинекологом. Но назначение сразило его. Илюшка стал военным врачом, старшим лейтенантом медицинской службы, а в Советской армии, как известно, нет контингента, нуждающегося в гинекологе. И вот уже два года он в армии, служит в своем родном городе, зарплата в три с лишним раза больше моей, свободного времени — девать некуда. Но с какой завистью он смотрел на меня, полунищего, живущего в общежитии, работающего как тягловая лошадь. У меня ведь есть любимая ортопедия, а он лишен возможности быть гинекологом.

Прошло несколько лет. Как-то я сидел в библиографическом отделе республиканской медицинской библиотеки, просматривая "Книжно-журнальную летопись". И вдруг увидел фамилию Илюшки и название статьи о лечении одного из женских заболеваний в условиях Крайнего Севера. Я рассмеялся. Мои добрые приятели, работники библиографического отдела с недоумением и беспокойством посмотрели на меня. "Книжно-журнальная летопись" — не юмористическое

произведение. И если человек смеется, читая ее, это весьма тревожный симптом: все ли в порядке с его психикой. Я рассказал об Илюшке. "Бьюсь об заклад, — закончил я, — что он подал рапорт министру обороны с просьбой послать его гинекологом хоть на Северный, хоть на Южный полюс. Примерно, так оно и было.

В январе 1965 года случайно мы встретились в гостинице в Москве. Илюшка возвратился с Земли Франца-Иосифа. Там, на базе, были жены военнослужащих. Нужен был гинеколог. В невероятных условиях он сделал диссертацию и защитил ее в самом "страшном" ученом совете — в хирургическом совете 2-го Московского медицинского института. Илью пригласили областным акушером-гинекологом в один из городов Украины. Первый секретарь обкома партии был лично заинтересован в нем, враче его жены, и делал все возможное, чтобы Киев утвердил Илью в должности. Но... Вы помните знаменитый софизм о творце мира, могущем создать все, даже камень, который он не может поднять. Но если он не может чего-нибудь сделать, следовательно, — он не всемогущ. А если он не всемогущ, он не может создать такой камень. Этот софизм опровергается случаем с Илюшей в должности областного акушера-гинеколога. Первый секретарь обкома действительно всемогущ. Но камнем, который он может создать и не способен поднять, оказался антисемитизм. Илья уехал работать ассистентом куда-то к черту на кулички, на север, где острая нехватка специалистов все еще несколько перевешивала ненависть к евреям. За несколько лет до выезда в Израиль я потерял Илюшу из виду. Не знаю, стал ли он, очень талантливый врач, доктором медицинских наук\*. В приводимой статистике, он, естественно, числится кандидатом.

Минимум пятнадцать историй мог бы я рассказать о пятнадцати евреях, защитивших диссертации. Мини-

\* Стал! См. сноску на стр. 66

мум, потому что путь моих однокурсников-евреев, не писавших диссертаций, к признанию, к получению высшей или первой категории был не менее тяжким, чем путь к степени доктора или кандидата медицинских наук. При этом следует учесть один немаловажный фактор: врачам легче, чем представителям других профессий. Очень уж велика зависимость от врачей власть предрежащих, чему примером может служить случай с Илюшей и первым секретарем обкома. В какой-то мере это иногда облегчало нашу жизнь, увеличивало возможности. Но только в какой-то мере, чему примером все тот же случай.

Какими цифрами можно выразить поправочный коэффициент на проклятье быть евреем в Советском Союзе?

Шесть докторских диссертаций моих русских и украинских однокурсников — это пик, это предел, это максимальное насыщение, несмотря на протекционизм, тепличные условия, творческие отпуска и тягу за уши. Семь докторских диссертаций моих однокурсников-евреев — это половина прерванного пути. Блестящие терапевты, кандидаты медицинских наук Ада Мальчик и Мордехай Тверски не защитили докторских диссертаций потому, что вовремя уехали в Израиль. Кстати, диссертацию Моти о фрамбезии — уникальный труд в СССР — в институте тропической медицины признали достойной докторской степени. Как и Мотя, Ада свою диссертацию сделала, разумеется, тоже не в институте, а работая практическим врачом в Магнитогорске. Надо ли объяснять, что никаких условий для научной работы ни у Ады, ни у Моти не было.

Талантливый невропатолог Борис Дубнов, автор отличной монографии о поясничных дискозах, не стал доктором наук потому, что, воспитанный отцом-сионистом, преодолев невероятные трудности, при первой же возможности уехал в Израиль.

Упомянув о монографии, я вспомнил интересную деталь, непосредственно относящуюся к теме. Моно-

графии была предпослана фраза: "Светлой памяти моего отца доктора Льва Фридмановича Дубнова посвящаю". Посвящение выбросили. Используя протекцию моих пациентов, работающих в ЦК партии Украины, не без труда удалось восстановить посвящение. Но в издательстве вместо Льва Фридмановича Дубнова написали Л.Ф. Дубнова. Так ведь не прочитывалась еврейская национальность. Используя все тех же пациентов, но уже в издательстве, мы добились того, что посвящение при первой верстке появилось в первоначальном виде на отдельном листе. Красиво, ничего не скажешь. Но один из редакционных работников по секрету предупредил, что при окончательной верстке или брошюровке "случайно" забудут этот лист. Кстати, как выяснилось, этот подлый план был известен моим благодарным пациентам из ЦК. С невероятным трудом, используя весь блат и возможности, удалось добиться, чтобы посвящение поместили на спуске первой страницы. Слава Богу, монография так и вышла. В какую статистику можно втиснуть этот типичный случай?

Не стал доктором медицинских наук серьезный продуктивный ученый-невропатолог Иосиф Таубер. Но, работая врачом в Хайфе, он не очень грустит по этому поводу.

Уже упомянуты многие мои однокурсники, живущие в Израиле: Микаэль Волошин, Борис Дубнов, Захар Коган, Ада Мальчик, Семен Резник, Иосиф Таубер, Мордехай Тверски, Рива Юкелис. Этот список, к счастью, можно продолжить. Отличными врачами в Израиле зарекомендовали себя мои однокурсники Сима Барак, Фрида Бательман, Дора Брендер, Гина Гольденберг, Буся Гольдшмидт, Ада Керцман, Яков Любовский, Давид Розин, Фира Содкер, Татьяна Тверски, Моше Фукс, Шева Шойхет, Армант Якоби. Неумолимое время не делает нас более молодыми. Появились преждевременные потери. Умер в Израиле доктор Анатолий Радомысльский. Умерли в СССР несколько человек, которых мы надеялись увидеть здесь.

где они должны были быть. Ожидается пополнение наших рядов врачами постепенно, ступенька за ступенькой поднимающихся по трудной лестнице восхождения. Мы знаем, как это нелегко и непросто. Там — уже какая-то стабильность, привычный быт, обеспеченное место работы. Приближается выход на пенсию. Можно получить максимум — 120 рублей в месяц. А что в этом неведомом Израиле, где не прекращаются войны, инфляция, агрессия, оккупация, наркомания, фашизм, безработица и еще миллион несчастий действительных и вымышленных?

Мы знаем возможности советского пропагандистского аппарата, особенно, когда он работает не по принуждению, а по побуждению, с удовольствием. Именно так он работает против евреев и против еврейского государства. Не только антисемитам, но и евреям адресуется дикая антиизраильская пропаганда в Советском Союзе. Хотя думающие люди пропаганде уже давно не верят, но она невольно оказывает свое отравляющее действие, потому что многолика и непрерывна.

Письма из Израиля с объективным описанием встречаемых нами трудностей не очень правильно оцениваются адресатами. И в этом не их вина, а наша, потому что здесь мы очень быстро забываем обстановку в стране исхода, очень быстро начинаем применять к событиям критерии, не соответствующие критериям наших оставшихся друзей. Что уж говорить о письмах попросту субъективных, иногда настолько, что они извращают истинное положение вещей.

Нельзя забывать еще один очень важный фактор, задерживающий алию: страх перед возможным отказом ОВИР'а\*. Даже без всякой мало-мальски разумной причины можно наткнуться на отказ. А ведь при подаче заявления на выезд врач должен уволиться с работы. На что жить? Сколько продлится такое существование?

\* В настоящее время мне известно о двух однокурсниках, находящихся в отказе.

Но отказ может иметь видимость формальной обоснованности. Скажем, служил в армии, кто-то из членов семьи имел допуск к так называемым секретным сведениям (известно, что секретными сведениями может быть и количество свиней в определенном колхозе). К собственной уязвимости прибавляется уязвимость детей. Все это нелегко и непросто.

И тем не менее, 27 евреев моих однокурсников совершили логичный поступок — покинули СССР. Из них 24 приехали в Израиль. Один, человек совершенно одинокий, уехал к своим сестрам в Венесуэлу. Два решили искать счастье в США, в новой диаспоре. Это их дело.

Я закрываю альбом. Он уже не предмет исследования. Мыслящему достаточно. В памяти ярко отпечатались фотографии однокурсников, молодых, таких, какими они были 29 лет тому назад. Для меня и моих друзей, находящихся в Израиле, это сплоченный курс, не разделенный по национальным признакам. Мы знаем, что не все наши украинские, русские, польские однокурсники отравлены антисемитизмом, не все из них использовали его для собственной карьеры; мы знаем, что многие с пониманием и одобрением, хотя и с естественным сожалением отнеслись к нашему отъезду в Израиль. Их понимание и одобрение справедливо. В абсурдном, перенасыщенном ненавистью мире моя маленькая страна — единственное для еврея место, где ему не страшны ни подобные социологические исследования, ни связанные с ними реминисценции и ассоциации.

## ПРОЧНОСТЬ ЗАПРОГРАММИРОВАННОСТИ

Может ли логическая цепь неопровержимых доказательств переубедить предубежденного? Я задумываюсь над этим, вспоминая часто повторяемую фразу: "Но что может убедить антисемитов?" Одних ли антисемитов можно обвинить в предубежденности? Сила запрограммированности центральной нервной системы человека настолько велика, что преодолеть ее очень непросто. Врожденная запрограммированность, то есть информация, записанная в молекуле ДНК нервной клетки, абсолютна для индивидуума и пока не поддается коррекции. Прочен, хотя и не может сравниться с силой врожденной запрограммированности, условный рефлекс, выработанный в детстве. Физиологи оперируют понятием "динамический стереотип". Это комплекс условных рефлексов. Более динамичен он в детстве и юности. Человек даже среднего возраста, в течение длительного времени привыкший входить только в определенный подъезд, неоднократно будет наткаться на закрытую дверь, когда взамен привычного подъезда откроют другой. В чистом случае именно запрограммированностью мышления объясняется трудность восприятия новых научных идей, новых представлений. Именно поэтому Копернику так трудно было победить Птолемея. Именно поэтому не воспринималось противоречащее повседневному опыту пред-

ставление о том, что Земля — шар, на котором поэтому антиподы должны ходить вниз головой и т. д.

В конце лета 1941 года я попал в госпиталь. Находился он в глухом городке на Южном Урале. Мы были первой партией раненых, и население проявило к нам интерес. Мне было 16 лет, поэтому рассказы товарищей по палате о том, что я не только воевал, а к тому же командовал взводом вызывали удивление у сердобольных женщин. Но это удивление не шло ни в какое сравнение с тем, которое возникло, когда они узнали, что я — еврей. Еврей? И ничем не отличается от обычного человека? Оказывается, уральские казаки, никогда не видевшие евреев, были убеждены, что это нелюди, что у них рога на лбу или еще что-нибудь в этом роде. Помню, как, смущаясь, они выясняли у меня, не являюсь ли я исключением, как упрямо перечисляли абсурдные несуществующие грехи евреев, вроде ритуального убийства детей христиан и подмешивания их крови в мацу. Не знаю, убедили ли их мои возражения. Может быть, я даже был на пути к победе, но все испортил неосторожным высказыванием. Пожилая женщина сказала:

— Чай, сынок, по темноте нашей мы чегой-то не кумекаем, но Христа нашего спасителя жиды-то, ну, евреи, значит-то, распяли окаянные.

— Но ведь Христос — сам еврей.

— Ну, эт-то ты брось, это ты оставь.

Не знаю, заметила ли пожилая женщина рога на моей голове, но атмосфера сгустилась, все мои предыдущие убедительные возражения рухнули, уникальность шестнадцатилетнего командира взвода вмиг улетучилась, и явно недовольные шефы быстро покинули палату.

В январе 1953 года я получил от мамы письмо полное горечи и возмущения по поводу неслыханной подлости врачей-отравителей. Как могли подобным образом поступить представители самой гуманной профессии, к тому же еще евреи? Ведь евреи стольким обяза-



ны советской власти! Уже подозревая, что мои письма перлюстрируются, я ответил весьма сдержанно. Но, примерно, через месяц, при встрече, высказал маме все, что я думаю, прежде всего о жестко запрограммированных идиотах, верящих очередному навету, а затем — о тех, кто их запрограммировал. Я попытался на профессиональном языке объяснить ей, медицинскому работнику, абсурдность обвинений, опубликованных в правительственном сообщении. Маму потрясло услышанное. Она яростно спорила со мной, удивляясь, до какого падения дошел ее сын, не понимала, как вообще коммунист может позволить себе подобные речи. Опубликованное вскоре заявление, что дело врачей было фальшивкой, конечно, обрадовало маму, но не стало аргументом, которым я мог бы оперировать в последующих спорах с ней. Так было и с разоблачением Сталина. Так было и всякий раз, когда я пытался рассказать ей правду об Израиле, о том, что, не желая уехать туда вместе с нами, она тяжелым камнем повисает на моих ногах, так как я не могу оставить свою старую больную одинокую мать, а находясь в СССР, теряю годы своей жизни, рискуя будущим своего сына. Ничто, ни ссылки на дело врачей-отравителей, ни сотни других примеров, ни даже история поступления в университет любимого ею внука не могли переубедить мою маму, достаточно настрадавшуюся в обожаемой ею стране. До последнего дня своего она была убеждена в справедливости любой подлости, если только эта подлость исходила из партийных инстанций, если только она была опубликована на страницах неизменно правдивой прессы.

(Вообще о силе печатного слова следовало бы написать особо. Это очень мощный раздражитель при выработке комплекса представлений, обеспечивающих запрограммированность. С ужасом я смотрю на деятельность многих израильских журналистов, надеюсь, не умышленно, по простоте душевной создающих у людей, а главное — у молодежи, негативное представ-

ление о своей стране, вырабатывающих прочный антипатриотизм. Мазохистски упиваясь многочисленными, к сожалению, недостатками и не упоминая о значительно большем количестве положительного, кроме деморализации собственного народа, они подбрасывают отличный пропагандистский материал антисемитам и антисионистам всех цветов и оттенков.)

Пожалуй, еще более интересный случай запрограммированности пришлось мне наблюдать уже в Израиле. Совсем недавно обратился ко мне пациент, кибуцник лет 65-ти. Перед самым четвертым разделом Польши, он, студент с очень левыми социалистическими убеждениями закончил университет. В 1939 году он оказался на территории, занятой Советским Союзом. Конечно, я не задавал ему глупых вопросов, за что он попал в лагерь на Крайнем Севере и каким образом приобрел профессию шахтера-угольщика в Воркуте. Еще до провозглашения независимости государства Израиль ему удалось приехать в Палестину. Примерно, с этих пор он член кибуца вблизи Натани. Однажды, — это было в конце сороковых годов, — после тяжелого рабочего дня группа кибуцников собралась вокруг костра. Был тихий вечер, располагающий к откровенной беседе. Впервые у бывшего невольного шахтера развязался язык. Спокойно, без восклицательных знаков он рассказал своим товарищам о лагерях и этапах, о вертухаях и уголовниках, об отработанной системе уничтожения тысяч и тысяч невинных людей.

(Пройдет чуть больше десяти лет и мир узнает об этом из произведений А. Солженицына. А ведь еще в ту пору мог бы узнать из потрясающих литературных документов Юлия Марголина. Мог бы, если бы не предубежденность и в еще большей мере политиканство некоторых соотечественников Марголина, не желавших слышать неудобной правды.)

Люди вокруг костра слушали молча, подавленные и потрясенные. Одним из слушателей был работающий в кибуце знаменитый израильский писатель, человек

весьма левых убеждений. Вместе со всеми он внимал рассказу о том, что творится в социалистическом обществе, в обществе его мечты, стране, разгромившей фашизм, в государстве, окруженном ореолом всеобщей справедливости. В глазах писателя сверкал огонь. Внутренний, или отражение костра? Рассказчик понимал, что молчание — самая сильная реакция на услышанное о пережитых им ужасах. Прошло несколько дней. Однажды во время работы писатель неожиданно спросил: "Скажи, сколько заплатили за твой рассказ американские империалисты?"

Стоило ли описывать эту историю, демонстрирующую слепоту и глупость писателя, даже если это человек, формировавший мировоззрение целого поколения израильтян? Конечно, нет. Но у рассказанной истории есть второй план, что делает ее действительно необычной.

Скажите, пожалуйста, что должно было произойти с лево-социалистическими убеждениями моего пациента после всего, что он пережил лично, после потрясений, обрушившихся на мир, после крушения политико-экономического эксперимента, загубившего десятки миллионов человеческих жизней? Да, вы правы. Убеждения его остались неизменными. И, конечно же, ничего не мог изменить какой-то час спора, во время которого я излагал азбучные истины. "Ну что ж, — соглашался он, — в СССР не получилось, но это вовсе не значит, что идея неосуществима".

Я рассказал ему о грубейших просчетах и нелепостях в теории марксизма. Я приводил в пример результаты национализации угольной промышленности лейбористским правительством Англии и абсурдность положения, сложившегося в судостроении социалистической Швеции и т.д. и т.п. Мой собеседник соглашался с каждым частным случаем, но упорно продолжал декларировать идеи социализма в абстрактном виде. Это уже клинический случай запрограммированности.

Вполне научное начало этой главы и несколько, я бы

сказал, нравоучительное изложение последующего материала заставляют предполагать безусловную безупречность автора во всем, что именуется им запрограммированностью мышления. То, что будет сейчас рассказано, в предыдущей главе было бы еще одной иллюстрацией пути евреев нашего курса в медицину, в науку. Здесь же — непосредственный ответ на заданный вопрос.

Отказ от материальных и прочих благ, предложенных маршалом танковых войск Федоренко, желание стать врачом было не блажью, не упрямством мальчишки. Долгие месяцы, проведенные в госпиталях, вид увечного человеческого тела, страданий и состраданий — все это предопределило выбор будущей профессии. Я буду врачом. И не просто врачом, а представителем специальности, которая никогда не исчезнет. Наступит золотой век человечества. Найдут панацею — средство от всех болезней. Не нужны будут ни терапевты, ни хирурги, ни инфекционисты. Но пока существуют люди, всегда их будет сопровождать травматизм. Только три медицинских специальности понадобятся счастливому человечеству — профилактики, акушеры и ортопеды. Я буду ортопедом.

В госпитале, зная о моей мечте, меня допускали в операционную. Надев колпак, маску, натянув халат поверх госпитального облачения, часами я простаивал на костылях, наблюдая ход операций. В гипсовочной помогал гипсотехнику. В рентгеновском кабинете овладел специальностью рентгенлаборанта. С этим начальным багажом я пришел в медицинский институт. Вероятно, небезынтересен еще один забавный факт. Лежа на вытяжении с грузом 20 кг., на гвоздях, вбитых в лодыжки, сползая с кровати под тяжестью этого груза и вновь подтягиваясь, что каждый раз сопровождалось дикой болью, я беспрерывно думал об устройстве, которое, осуществляя вытяжение, не будет обладать его отрицательными свойствами. Не помню, сколько времени заняло у меня конструиро-

вание. Но однажды на поставленном на грудь пюпитре я сделал чертежи, рисунки, написал объяснительную записку и стал ждать обхода профессора. Наконец, большой обход. Профессор бегло просмотрел чертежи и рисунки и тут же возвратил их мне: "Ерунда. Не годится". — "Почему?" — спросил я. "Нефизиологично", — последовал ответ. Что оно такое, я не знал. Но звучало вполне учено. К тому же профессор — высший авторитет.

Чертежи и рисунки я все-таки сохранил. Пожелтевшие от времени, они и сейчас у меня вместе с малой частью чудом уцелевшего и вывезенного архива. Спустя несколько лет, независимо от меня, подобное дистракционно-компрессионное устройство изобрел врач из Зауралья. За это устройство, при защите кандидатской диссертации, ему дали степень доктора медицинских наук.

В институте продолжалась усвоенная на фронте линия поведения — еврей должен быть первым. Готовясь стать ортопедом, я посещал лекции на физико-математическом факультете университета, основное внимание уделяя механике. Уже потом, после защиты кандидатской диссертации ее место займет электричество. Институт закончил с отличием. Значительно позже мне стало известно, что в моем личном деле, представленном комиссии по распределению, были две рекомендации в аспирантуру — заведующего кафедрой госпитальной хирургии нашего института и заведующего кафедрой ортопедии и травматологии Киевского института усовершенствования врачей, главного ортопеда-травматолога Украины, того самого профессора, который сказал, что мой аппарат — ерунда. Подобно Илюшке, о котором рассказано в предыдущей главе, я не ждал никаких огорчений от распределения, так как знал, что должность ортопеда мне всегда достанется, потому что ортопедов не хватало даже в центральных городах.

Комиссия по распределению заседала в кабинете

директора института. Приехавший из Киева начальник отдела кадров министерства здравоохранения просмотрел мое личное дело и сказал: "Поедете врачом-терапевтом в Свердловскую область". Я ответил, что это назначение абсурдно, так как инвалид Отечественной войны второй группы в худшем случае имеет право на свободный диплом, но я согласен поехать в Свердловскую область или куда угодно, если мне будет гарантирована работа ортопеда. Директор института смущенно потупился, когда начальник кадров грубо пресек меня, заявив, что советская власть не для того тратила деньги на мое образование, чтобы сейчас давать гарантии. Из кабинета директора я вышел в приемную, где товарищи по группе обсуждали каждое назначение и с тревогой ожидали своей очереди. Мое сообщение о назначении было воспринято группой как глупая шутка. Даже Захар Коган, при каждом удобном случае пытавшийся открыть мне глаза на все, что происходит вокруг, посчитал, что я разыгрываю товарищей. Но это, увы, был не розыгрыш. На письмо, посланное в Свердловск с запросом, могу ли я надеяться получить место ортопеда, ответ не был получен.

Окончив институт я поехал в Киев. Хождение по кабинетам министерства здравоохранения оказалось бессмысленным. Потеряв несколько дней, я направился в ЦК компартии Украины. Старшина госбезопасности бесстрастно сверил мое лицо с фотографией на партийном билете и пропустил меня в пустынный холл, вместительный, как вокзал.

В течение нескольких дней меня швыряли из одного кабинета в другой. Чувство беспомощности было еще острее, чем в детстве, когда мальчишки из четвертого класса втянули меня, первоклашку, в круг и, гнусно веселясь, толкали от одного к другому. В огромных кабинетах один или, — в редких случаях, — два стола казались просто нелепыми. Над столом портрет товарища Сталина. За столом добротный серый костюм

с непременно избыточно длинными рукавами. Вышитая украинская сорочка, именуемая "антисемиткой". Узоры и расцветка могли быть разными в разных кабинетах, но не очень. Почему-то всегда я заставлял серые костюмы за одним и тем же занятием — изучением таблицы футбольного чемпионата. Вероятно, у ЦК КП/б/Украины не было более насущных забот. Лишь один серый костюм был исключением: он решал кроссворд. Нагло улыбаясь, он заявил, что у еврея есть возможность доказать свою преданность родине, согрев своим сердцем вечную мерзлоту Заполярного Урала. Мне захотелось схватить вышитую сорочку, встряхнуть из нее мерзкую антисемитскую душонку, врезать так, чтобы долго потом срастались кости переносицы, чтобы глаза скрылись в сине-багровом кровоподтеке. Но была абсолютная беспомощность первоклашки в злобном безнаказанном круте.

В те дни я навсегда возненавидел огромное серое здание с коринфскими колоннами по фасаду, даже тихую улицу Орджоникидзе, на которой находится здание ЦК. Но ненависть моя не распространялась на идею, хранимую и проповедуемую этим зданием.

В Москве оказалось еще хуже. Безнаказанный круг состоял не из кабинетов, не из серых костюмов и вышитых "антисемиток", а из безликих голосов в телефонной трубке. Москва плавилась от жары. Ноги упали в мягком асфальте. Палочка оставляла следы, как в снегу. Ночевал я у родственников друга по институту. Ни на фронте, ни в студенческие годы у меня и мысли не возникало отказаться от приглашения поесть. Но тогда, остро ощущая материальную несостоятельность, я солгал, что не могу есть утром. В двух шагах от дома, на Даниловском рынке съедал триста граммов хлеба и пол-литра молока. В течение дня выпивал еще стаканов двадцать газированной воды без сиропа. Этим ограничивалось суточное пищевое довольствие. Всего на день в Москве мной ассигновалось десять рублей (по старым ценам). Остающаяся

после покупки хлеба, молока и воды сумма — около шести рублей — тратилась на транспорт.

Ровно в девять я приходил в бюро пропусков ЦК ВКП/б/ на площади Ногина. Справа, на уровне головы в небольших одинаковых окошках восседали капитаны МГБ, тоже казавшиеся одинаковыми. Слева, вдоль всей стены располагались кабины с телефонами. В отличие от Киева, партбилет здесь не служил пропуском. Если из соответствующего кабинета по телефону поступала команда, капитан МГБ выписывал пропуск. Для этого следовало набрать необходимый номер и подробно изложить свое дело. Дверь кабины захлопывалась герметически. Пот заливал глаза. Галстук казался петлей, захлестнутой на шее. Сейчас даже легкая тенниска была бы подобна веригам, а я задыхался в официальном костюме с орденскими планками на груди. Естественно — коммунист явился на прием в свой Центральный Комитет. Выслушав мой рассказ, телефон объяснил, что я обратился не по назначению и сообщил необходимый номер. У дверей кабины выстраивались ожидающие. Снова и снова я выслушивал, что обратился не по назначению и снова и снова занимал очередь к телефону. Так прошло два дня.

В отличие от первой ночи, когда я свалился замертво, вторая была безуспешной борьбой с бессонницей. Я упорно заставлял себя не думать о том, что все чаще и настойчивее вползало в сознание. Все происходящее можно было объяснить только антисемитизмом. Не частного лица, не тупого украинского мужика, а официальным, централизованным, ставшим одной из основ отлично организованной политической системы. Но ведь система — функция Марксизма—Ленинизма, самого неоспоримого, самого гуманного, самого прогрессивного учения. Как же совместить антисемитизм с гуманностью и прогрессом? Вероятно, я чего-нибудь не знаю. Вероятно, из высших соображений ЦК вынужден что-то утаивать от коммунистов. Поговорить бы с товарищем Сталином. Этот добрый и мудрый человек



сумел бы помочь, разъяснил бы, ликвидировал бы сомнения. Нечего и думать о приеме у товарища Сталина, или даже у заведующего административным отделом. Попасть хотя бы к одному из инструкторов...

Ретроспективно рассматривая эту ночь, раскаленный август в Москве, серые костюмы и вышитые "антисемитки" в киевских кабинетах, я с недоумением думаю о себе, двадцатилетнем, слепо верящем, отгоняющем сомнения, лишенном способности элементарного анализа.

В студенческие годы, ставя эксперимент с асептическими абсцессами, я исходил из предпосылки, что опыты должны уложиться в стройную систему, согласованную с модной в ту пору теорией, ниспосланной Центральным Комитетом. Но опыты не укладывались в эту систему. А как мне хотелось этого! Тогда пришлось сделать вывод, что теория неверна. Почему же, получив такое количество статистически достоверных данных, я не сделал соответствующего вывода о гениальном учении Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина? Почему понадобилось еще полтора года, скользкое, с мокрым снегом утро 13-го января 1953 года, пахнущая типографской краской "Правда" с правительственным сообщением о врачах-отравителях? Да и это оказалось всего лишь началом. Как можно быть одновременно ученым и коммунистом?

Самая красивая теория должна быть отвергнута ученым, если она противоречит статистически достоверному эксперименту. Следовательно, либо ты честный ученый, либо ты коммунист. Нельзя совместить несовместимое. Нельзя не очнуться от гипноза, навязанного ежесекундным вдалбливанием в мозг, если ты окончательно не идиот. Жестко запрограммировать можно только автомат.

В девять часов утра я снова был на площади Ногина. Начало третьего дня ничем не отличалось от двух предыдущих. Но сказалась бессонная ночь, боль в зарубцевавшихся ранах, исподволь накопившаяся обида,

чувство, что швыряют тебя, первоклашку. И тогда, после очередного телефонного разговора я рванулся к ближайшему окошку. Капитан МГБ, обалдев от неожиданности, выслушал отборнейший мат. Изумление было настолько велико, что, вопреки выучке и привычке, капитан поступил самым невероятным образом: высунувшись из окошка, осмотрел явно своего человека, потому что так матюгаются только свои. Вместо логичного применения власти, капитан пристально посмотрел на орденские планки, взглядом окинул меня с ног до головы и вдруг неожиданно спросил:

— Кем был на фронте, служивый?

— Танкистом.

— В каком корпусе?

— Во второй отдельной гвардейской бригаде.

— Иди ты! Да мы, бля, соседи! Я — в сто двадцатой. Слышал? Стой, да ты, часом, не тот взводный, что первым вышел на Шешупу?

Постепенно остывая, я утвердительно ответил на его вопрос.

— Ну, бля, недаром тебя Счастливым называли. Надо же тебе нарваться как раз на меня. Да другой сгноил бы тебя, курву. Чего тебе в ЦК-то? — Эмгебист выслушал рассказ, десятки раз до этого повторяемый по телефону. — Давай партбилет. Паспорт давай. — Капитан явно не в состоянии был скрыть изумление, наткнувшись на пятую графу, вероятно, противоречащую его искренним убеждениям, что евреи — трусы, что евреи отсиживались в тылу. И как это могло случиться, что именно евреем оказался тот самый командир взвода? Он застыл, уставившись в мой паспорт.

О чем он думал? О жидах ли в массе, или об одном отдельно взятом жиде? Вдруг он решился и снял трубку. Было ясно, что на другом конце провода — женщина. Капитан немного пококотничал, положил трубку и выписал пропуск.

— Ну, бля, и вправду ты счастливчик. Иди на прием

к зав. админотдела. Секретарь у него наша. Баба, я те скажу!

Спустя много лет, анализируя свое длительное ослепление, свой инфантилизм, свое неумение сделать очевидный вывод из статистически достоверного эксперимента, я пытался как-то оправдать себя, мол, опыт был неоднородным; был и капитан МГБ, были и другие, а главное — был прием у заведующего административным отделом, членом ЦК. Действительно, был.

Около получаса, не прерываемый им ни разу, я рассказывал о себе, о назначении, о серых костюмах, о горечи и обиде. Даже впервые произнес непроницаемое слово — антисемитизм. Заведующий административным отделом только мягко пожурил меня, напомнив, что коммунист не должен обижаться на свой Центральный Комитет. Вера — вот оно главное. Тут же он позвонил в Киев и приказал заведующему административным отделом ЦК КП/б/ Украины немедленно обеспечить мое зачисление в клиническую ординатуру кафедры ортопедии и травматологии института усовершенствования врачей. В Киеве, по-видимому, выдвинули какое-то веское возражение, на что из Москвы последовал раздраженный ответ: "Значит будет один из 184-х!" Так среди 184-х врачей, принятых в 1951 году в клиническую ординатуру, я действительно оказался единственным евреем.

Произошло это не сразу, несмотря на высокий звонок. В Киеве я снова попал в круг швыряющих меня от одного к другому. Только угроза обратиться к заведующему административным отделом оказалась действенной, потому что, кто его знает, какая у этого жида рука, если звонок был от самого члена ЦК.

Наступил, наконец, радостный день, когда профессор, заведующий кафедрой ортопедии велел мне явиться на работу, так как приказ министерства здравоохранения им лично вручен директору института, а директор заверил профессора, что приказ по институту будет отдан в тот же день.

Прошло три недели, наполненных тяжелой, но любимой работой. Подошел день получения зарплаты, первой врачебной зарплаты — событие само по себе, а тут еще особые обстоятельства: остался один рубль — ровно на два троллейбусных и два трамвайных билета. После очень трудного рабочего дня, после нелегкого пути по опадающим скользким каштанам, после трамвая и троллейбуса, в которых не только сесть, но и стоять было негде, я попал в бухгалтерию института. Голодный и усталый около получаса протоптался в очереди только для того, чтобы кассир заявила, что я не числюсь в ведомости на зарплату. Главный бухгалтер, к которому я обратился, просмотрел книгу приказов за два месяца, но там не оказалось ничего, относящегося к ординатуре на кафедре ортопедии. Старика, видно, что-то взволновало, потому что вместо привычного "На вас нет приказа", он попросил: "Пожалуйста, доктор, вероятно, приказ по министерству у вас?" Действительно, приказ был при мне. Старик вчитывался в каждое слово и вдруг сказал: "Так. Не тратьте времени. Вы знаете, где находится директорат? Правильнее было бы сказать директория. Одноэтажное здание напротив. В четыре начинается ученый совет. Есть еще время. Немедленно к директору".

В шумной приемной, заполненной солидной публикой, не имело смысла спрашивать, кто последний, потому что до начала ученого совета оставалось ровно двадцать минут, а посетителей было не менее тридцати. Но знакомый профессор объяснил, что я могу зайти, так как это не посетители, ожидающие своей очереди, а члены ученого совета.

Т-образный стол протянулся во всю длину огромного кабинета. Во главе стола в массивном тренообразном кресле под большим портретом товарища Сталина в форме генералиссимуса, громоздился многопудовый мужчина лет пятидесяти в просторном сером костюме с избыточно длинными рукавами, в красивой вышитой сорочке. Узенькие насмешливые глазки на

крупном жирном лице, выражение сытости и самодовольства выставлялись в двух экземплярах — натура и отражение в идеально полированной деке стола. Сбоку, на краешке мягкого стула пристроилась стареющая женщина с невероятно рыжими, почти карминно-красными волосами.

(Через двадцать два года на консультацию, тяжело навалившись на палку, принесет свои вздувшиеся суставы несчастная старуха с остатками волос, ярко-рыжими на концах и грязно-седыми у корня. Бывший секретарь партийного комитета института усовершенствования врачей с тревогой, заискивая, будет вглядываться в меня, пытаюсь определить, узнал ли я ее. И я не отвечу на ее молчаливый вопрос, потому что буду понимать, чувствовать, как она хочет остаться неузнанной.)

Я подошел к перекладине буквы Т, представился и объяснил причину посещения. Директор, он же профессор, заведующий кафедрой хирургии, спокойно выслушал меня и, подавляя послеобеденную отрыжку, лениво переспросил:

— Клинический ординатор кафедры ортопедии? Как фамилие? Упервые слышу.

— Простите, профессор, вот копия приказа по министерству. Оригинал вам был вручен три недели тому назад.

— А шо мени тот приказ. Тот приказ, як кажуть, мне ни шо. Мой приказ это сила.

— Три недели тому назад вы сказали моему шефу, что ваш приказ будет отдан в тот же день.

— Понятие не имею. А шо, шеф, як кажуть, родичем приходится? Уродственник?

— Нет, не родственник. — Мне следовало бы сесть. Я мечтал об этом. Но, естественно, не смел без приглашения.

— Ну як же не родственник. Есть у него дочка?

— Простите, профессор, возможно, и у вас есть дочка, но мы же не родственники.

Огромные усилия прилагал я, чтобы оставаться сдержанным и спокойным. То ли от боли, то ли от голода кабинет директора начал терять реальные очертания. Рыжеволосая женщина где-то далеко, словно в перевернутом бинокле, а монгольские глазки приблизились так, что можно достать их кулаком. Снова спрашивает фамилию. Снова говорит, что слышит ее впервые. Снова разговор о дочке шефа. Только мой приказ это сила. Я что-то отвечал, не слыша ответов.

— А чего вы с палочкой, як кажут, ходите?

— Ранение.

— Ранение? А хибя это у вас не с детства?

— Нет.

— Ранение, значит. При эвакуации, или баловство, як кажут, какое?

— Нет, в танке. Во время атаки.

— Да ну! А я думал, что это у вас с детства. Значит, ранение?

— Да.

— На фронте, говорите?

— Да.

— А як же! У вас там, як кажут, целая куча орденов. — Упиваясь своей памятью, директор безошибочно перечислил все мои награды.

Самодовольная свинья! Фамилию впервые слышит!

— А взагали, як кажут, ордена можно купить в Ташкенте.

Я поставил свою тяжелую палку в угол буквы Т. Я понимал, что этого нельзя делать, что это какое-то безумие. Но совладеть с собой не мог. Выпянутой левой рукой я схватил узор "антисемитки", вобрал в ладонь вместе с волосами на груди. Рванул на себя. И тут же прямой правой всего себя вложил в удар. Черная струя из разбитого носа в красный цвет изменила цвета узора на "антисемитке". Два багрово-синих кровоподтека мгновенно вздулись, еще больше сузив щелки монгольских глаз. В течение пятнадцати минут

ярко-рыжая дама не проронила ни единого звука. Но в этот миг из нее вырвался мощный вопль, услышанный в шуме приемной.

Распахнулись обе половины двери, и появился ученый совет in cogroge. На лицах вся гамма чувств — от возмущения действительного и деланного до безуспешно скрываемого удовольствия. Я схватил свою палку и, стараясь быть спокойным, голосом, которым когда-то, перекрывая грохот танка, отдавал команды, произнес:

— Я тебе, падло, покажу, как можно купить ордена в Ташкенте! — И сквозь расступившуюся толпу профессоров быстро вышел из кабинета.

Через полчаса я уже был в министерстве здравоохранения. Месяцами нельзя пробиться на прием к заместителю министра по кадрам. Но сейчас он ждал меня, оповещенный обо всем, что произошло у директора института. Едва я переступил порог приемной, отворилась дверь, и высокий красавец, весело улыбаясь и обняв меня за плечи, уволок в кабинет. На заместителе министра был отлично сшитый темно-синий костюм. Красивый сине-красный галстук ярко вырывался на фоне белоснежной рубахи. Возможно, казацкая фамилия позволяла пренебречь униформой. Сразу же, с порога заместитель министра обратился ко мне на "ты". На сей раз нелюбимое мною амикашонство не показалось обидным или неуважительным. После подробных вопросов, после кучи восторженных междометий заместитель министра сказал:

— Ладно, брат, прямо сейчас поезжай в ортопедический институт. Место в общежитии уже подготовлено. Завтра устроим приступай к работе в первой клинике.

Так я стал клиническим ординатором Киевского научно-исследовательского института ортопедии и травматологии.

Кличка хулигана прочно прилипла ко мне, являясь неизменным сопровождением при упоминании моей фамилии в течение двух с половиной лет пребывания

в этом заведении. И позже.

В марте 1957 года я поступил на работу в обычную городскую больницу с необычным хирургическим отделением. Заведовал отделением старейший и лучший киевский профессор-хирург Борис Михайлович Горюшинский. В связи с делом "врачей-отравителей" его изгнали из института, а после реабилитации "убийц в белых халатах" — забыли восстановить. Из 16-ти врачей отделения, кроме профессора, два были виртуозами, а еще несколько входили в двадчатку лучших киевских хирургов. Как и профессор, еще два врача были "бывшими", то есть изгнанными из института евреями. В ординаторской, за исключением часов клинических конференций, царила атмосфера закрытого клуба интеллектуалов. Я почувствовал это с первой же минуты, придя представиться профессору. Он полулежал на старом клеенчатом диване.

— Простите великодушно, коллега, мою позу, но, закончив операции, я позволяю себе иногда расслабиться. Настойчиво советую и вам. После 45-ти лет работы врачом. Друзья, честь имею представить вам нашего нового ортопеда. Прошу любить и жаловать. Кажется, вы о нем слышаны. Это тот самый юноша, который, отмолотив нашего высокопоставленного товарища по цеху, перед концом раунда отправил его в нокаут.

— Вы несколько неточны, профессор. Я ударил его единственный раз.

— Феноменально! Дорогие коллеги, поздравляю вас и себя с приобретением. Наше отделение имеет реальнейшую возможность завоевать высокий балл по спортивной работе. Кстати, известно ли вам, коллега, что вас тогда спасло от наказания?

— Естественно. Фраза, услышанная всем ученым советом, фраза, доказывающая, что директор оскорбил советские ордена и, следовательно...

— Юноша, вы витаете в эмпиреях! Спуститесь на грешную землю и обратите взор на мудрейшую француз-



скую поговорку "Ищи женщину". Вероятно, вам не известно, что семья вашего оппонента, я имею в виду высокопочтенного директора института, и семья обожаемого нами министра здравоохранения, — как вам известно, министром он стал ровно через месяц после вашего великолепного удара (я все еще не могу прийти в себя; как специалисту, мне просто трудно представить себе, как одним ударом невооруженной руки можно создать такую роскошную патологоанатомическую картину) — да, так вот эти высокочтимые семьи после войны некоторое время проживали в общей квартире. А так как жены были, как бы это выразиться, женщинами несколько недостаточно интеллигентными, — дорогие коллеги, считаю ваш хохот недостойным джентльменов; лучшая половина ординаторской обвиняется в излишней и постоянной неприязни к себе подобным, — да, то коммунальная кухня превратилась в арену баталий, или, мягко выражаясь, в ад. А так как степень интеллигентности мужей...

— Борис Михайлович, вы снова грешите против математики. Ноль в степень не возводится. Следовало сказать "уровень интеллигентности".

— Петр Андреевич, меня убивает ваше формальное мышление. Чтобы лишний раз продемонстрировать мою правоту, возражу вам, что отрицательная величина возводится в степень. Да, так вот, поскольку с т е п е н ь интеллигентности мужей не очень отличалась от интеллигентности жен, то вскоре в ад превратилась сначала квартира, а затем — более широкие медицинские сферы превратились в коммунальную кухню. Так как ваш великолепный удар был нанесен в ту пору, когда уже всем было известно, что министром назначат начальника управления медицинских учебных заведений, то есть бывшего соседа вашего оппонента, то вышеупомянутый удар будущим министром и всеми, кто жаждал оказаться у него в фаворе, был воспринят как личный подарок. Эрго, отправляя в нокаут

очередного противника, не заготовливайте заранее гениальных фраз и не произносите экспромтов, могущих украсить литературу. Выясните, кто жена вашего оппонента и чем она будет вам полезна.

К сожалению, ни разу мудрый совет профессора не вспомнился в нужный момент, как, впрочем, и другие мудрые советы. Правда, советы — это не доводы.

Ну, хорошо, могут сказать мне, мы помним, с какой целью рассказана эта история. Мы выслушали ее до конца и все-таки неясно, изменилось ли мировоззрение рассказчика. Менялось. Медленно. Шаг за шагом. Постепенно прояснялись частности, детали. Но я еще не мог, не хотел разглядеть всей картины. Мне все еще казалось, что правильная идея извращена плохими людьми, что все могло бы совершиться иначе...

Единственно, что в какой-то мере служит мне оправданием (тешу себя такой надеждой), это то, что бесконечный поток фактов все-таки, в конце концов, оказался сильнее предвзятости, обусловленной воспитанием и последующим промыванием мозгов, и я, слава Богу, не остался жестко запрограммированным идиотом.

## СЕРЕДИНА АТОМНОГО ВЕКА

Центральный Украинский научно-исследовательский институт ортопедии и травматологии — официальное название Киевского ортопедического института, в котором я прожил два с половиной года. Прожил — не литературный образ, не фигуральное выражение. Утром, если не дежурил накануне и всю ночь, из нашего общежития, небольшой комнаты, в которой ютились четыре врача, я выходил в полотняных брюках, в тапочках, в халате, надетом поверх майки, по непарадной лестнице поднимался этажом выше, на третий этаж, в клинику. В комнату возвращался перекусить и переночевать. В дни дежурств все в том же наряде уже по другой лестнице, тоже непарадной, из клиники спускался в полуподвал, в котором располагался травматологический пункт. Из большого серого здания мне приходилось выбирать только в библиотеку, конференц-зал и рентгеновское отделение, для чего все в тех же тапочках надо было преодолеть открытое пространство — метров 15–20, разделявших оба корпуса института. Иногда повседневная рабочая форма сменялась на обычный костюм — либо для редких вылазок в дешевую столовку, после обеда в которой мучила изжога и воспоминания о запахах на несколько дней отвращали от мысли о нормальном обеде, либо в магазин, все полки которого были уставлены консервными

банками с крабами и печенью трески. Эти, как потом выяснилось, деликатесы и были основным продуктом питания, так как ничего другого в ту пору нельзя было достать.

В отличие от Израиля, где в каждой больнице есть столовая для персонала (с символической оплатой), в Киевском ортопедическом институте, да и вообще в Киеве, как и вообще в любом известном мне лечебном учреждении, ничего подобного не было. Так я прожил до конца лета 1952 года. Потом характер существования остался тем же, но изменилось место действия. И комната общежития вместо четырех, вмещала уже семь врачей.

Дело в том, что институт располагался в изумительном Мариинском парке, напротив бывшего царского дворца, построенного Растрелли. Во дворце помещался Верховный Совет Украины. Похоронные процессии из институтских ворот и без перерыва снующие кареты скорой помощи, хотя они и не издавали душераздирающих звуков, как в Израиле, раздражали публику, занимающую бывший царский дворец. Нужна была капля, переполняющая чашу терпения. А если капля нужна, она непременно появится.

Как-то в конце зимы наша операционная санитарка Матрена Сергеевна, или попросту тетя Мотя, вынесла ампутированную ногу не в кочегарку, а на мусорник, и два огромных лохматых пса поволокли ее оттуда через парк, через площадь, к зданию Верховного Совета, и какая-то очень высокопоставленная личность чуть не потеряла сознание при виде этой ноги.

Судьба института была решена. Не сразу, конечно. Пока в верхах ворочались шестерни, сделали ремонт стоимостью в миллион семьсот тысяч рублей, а уже после этого нас выселили, втиснув в бывшее помещение института нейрохирургии. Старое же специально построенное здание ортопедического института переоборудовали под министерство здравоохранения, потратив на это еще несколько миллионов. Огромный

роскошный царский парк, летом три раза в неделю наполняемый симфонической музыкой, мы сменили на запущенный баронский парк невдалеке от Сенного базара. Но это уже потом. А пока я жил полновесной изумительной жизнью в первой клинике института.

Ничего лестного не могу сказать о научно-исследовательской деятельности этого заведения. Но в профессиональном отношении мне повезло. Это было первоклассное лечебное учреждение.

Чтобы получить удостоверение специалиста-ортопеда врач в Израиле должен специализироваться пять с половиной лет. Клиническая ординатура по ортопедии в Советском Союзе — три года. Мне пришлось ее окончить за два с половиной года. В течение трех лет ординатор работает как черный вол, если он действительно намерен стать специалистом. Во время суточного дежурства в травматологическом пункте приходилось принимать по сто и более карет скорой помощи. Переломы, вывихи, дисторзии, разрывы сухожилий. Работа как на конвейере. Инструменты значительно хуже, чем в Израиле, поэтому должна быть компенсация — лучшая техника репозиций и наложения различных повязок. На следующий день после такого дежурства могут быть плановые операции. В перерывах между операциями не пьют кофе, ибо перерывов нет. После операций надо обслужить своих больных, лежащих в клинике. В течение первого года ординатуры у меня постоянно было не менее двадцати больных. (Для сравнения: в Израиле нормальное ортопедическое отделение — до 35 коек — обслуживается, примерно, 8–10 врачами.) Раз в 10–14 дней экзамен по очередному разделу ортопедии и травматологии. Экзаменатора не интересует, когда ты готовишься к экзаменам. За два с половиной года мне ни разу не приходилось быть не то что свободным — расслабленным.

Но, может быть, действительно правы израильские коллеги, заявляющие, что у врачей, приехавших из СССР, в среднем более низкая квалификация?

В среднем! Я могу утверждать, что на каждого советского водителя автомашины в среднем приходится неизмеримо меньше нарушений дорожного движения, чем на израильского. С высокой степенью вероятности я даже могу предположить, что, несмотря на повальное пьянство в Советском Союзе, содержание алкоголя в крови советского водителя в среднем все-таки меньше, чем у израильтян. Но в среднем говорить о квалификации врача?

”Ты действительно специалист исключительный. Ты совсем не похож на врачей, приехавших из России”. Этот сомнительный комплимент моих израильских коллег не просто резал слух. Он тревожно напоминал мне нечто очень знакомое. Не только от комбата пришлось услышать подлую ранящую фразу: ”Ты хороший парень, совсем не похож на еврея”. Почему же не похож на других врачей? Разве не доказали свою высокую квалификацию доктора Барак, Гольденберг, Дубнов, Коган, Мальчик, профессор Резник, доктора Татьяна и Мордехай Тверски, Фукс, Юкелис и другие? Наугад я назвал только несколько моих однокурсников, вероятно, незаслуженно обидев этим других. Я мог бы назвать еще десятки фамилий врачей, окончивших только наш институт. А сколько сотен великолепных врачей, окончивших в СССР другие институты, работают сейчас в Израиле?

Вряд ли кто-нибудь упрекнет меня в просоветской агитации, если я скажу, что лучшие представители советского здравоохранения унаследовали замечательные традиции русской земской медицины, ее служение людям, ее сострадание, а не просто работу ради сытого существования, а иногда — и ради наживы. Так уж случилось, что лучшим русским диктором был еврей. Так уж случилось, что хранителями и реставраторами славянского, старо-русского изобразительного искусства, уничтожавшегося советской властью, стали евреи. Так уж случилось, что продолжателями благородных традиций русской земской медицины явились евреи.

В пору моего пребывания в Киевском ортопедическом институте евреи еще составляли значительную по количеству и лучшую по качеству часть врачей. В первой клинике постоянно замещал флегматичного заведующего доцент Макс Новик. (Я был несказанно рад встретить в Израиле его дочь доктора Дину Новик.) Основная тяжесть по руководству третьей клиникой ложилась на старшего научного сотрудника Софию Порицкую. Четвертой клиникой заведовала одна из сильнейших ортопедов не только Советского Союза, но и Европы, профессор Анна Фрумина. Оба ее заместителя тоже были евреями. Пятой клиникой заведовал профессор-еврей, основоположник целого направления в челюстно-лицевой хирургии. Рентгеновским отделением заведовал незабвенный Иуда Мительман — единственный соперник московского рентгенолога, профессора Рейнберга (с внуком которого, студентом медицинского факультета Тель-Авивского университета, я познакомился уже в Израиле). В клиниках и лабораториях было еще несколько врачей-евреев, в том числе специалистов единственных в своем роде.

Надо ли объяснять, что сейчас Киевский ортопедический институт, основанный евреем профессором Осипом Фруминым и его женой профессором Анной Фруминой, очищен от нежелательных лиц, или, как говорили лучшие друзья евреев, юденфрай.

Буквально с первых дней пребывания в институте я почувствовал враждебное отношение исполняющего обязанности директора. Позже мне стало известно, — что я — не исключение. Не было ни единого еврея в институте, которого бы он не преследовал. Но, будучи среди них самым молодым, я был и самым уязвимым.

Узнал я об этом совершенно неожиданно, усыпленный благополучным существованием в клинике, позволившем мне даже увериться в том, что все беды, связанные с моим ничего не значащим еврейским происхождением, уже позади. Профессор и оба доцента были довольны тем, что в моем лице приобрели бес-

сменного дежурного врача, которым можно затыкать все дырки; ординатора, сдающего экзамены только на отлично. С коллективом клиники у меня с первого же дня установились дружеские отношения. И вдруг...

В мою палату положили молодую женщину. За несколько дней до этого она упала на катке. Утром, во время обхода старшие, посмотрев пациентку, предположили несколько диагнозов, в том числе — туберкулез грудного отдела позвоночника. Вероятно, потому, что до этого я тщательно обследовал больную, я посмел возразить и высказал предположение, что здесь глубоко расположенное нагноившееся кровоизлияние и необходима срочная операция. Один из доцентов только ехидно улыбнулся по поводу моего диагноза. Но профессор и второй доцент все-таки велели сделать диагностическую пункцию. Гноя я не добыл, чем и похоронил свой диагноз.

К вечеру состояние больной резко ухудшилось. Несмотря на антибиотики, температура достигла 40° С. Я спустился к профессору, но его не оказалось дома — уехал на дачу. Звонки к доцентам тоже оказались безрезультатными. Как назло, они отсутствовали и не было известно, когда появятся. Ответственный дежурный оперировал в травматологическом пункте. Состояние больной становилось угрожающим. И тогда, снова уверившись в своем диагнозе, хотя и не подтвержденном пункцией, я все-таки решился на операцию. В первые минуты я пришел в отчаяние. Гноя не было. Но едва я вскрыл самый глубокий слой, как из него под давлением хлынул гной, около 500 кубических сантиметров. Утром, почувствовав себя совершенно здоровой, пациентка попросила выписать ее домой для амбулаторного лечения раны.

Профессор, оба доцента, старшие и младшие научные сотрудники, врачи — все поздравляли меня с удачным дебютом. Исполняющий обязанности директора института вызвал меня к себе. Я даже почувствовал себя несколько неловко. Ну, именинник. Ну, поздрав-



ления. Но, пожалуй, уже достаточно. Как-то неудобно по такому пустяковому поводу выслушивать поздравления еще и от директора института. Но поздравлений не было.

Раздувая ноздри утинового носа на красном от гнева лице, встряхивая седыми с желтой подпалиной волосами, директор обрушился на меня с матерной бранью и велел подписаться в получении приказа, объявляющего мне строгий выговор за самовольные действия, а именно — операцию без разрешения заведующего клиникой. Я был настолько ошарашен, что впервые и единственный раз в жизни безропотно выслушал матерную брань. Потом в институте говорили, что в этот день произошло несколько чудес. Главным чудом было то, что профессор, который ко всему относился с олимпийским спокойствием, вернее — с равнодушием, пошел к своему ученику, исполняющему обязанности директора и опротестовал выговор. Таким образом, еще около десяти дней у меня не было никаких взысканий. Но — чему быть, того не миновать.

Вечером 31-го декабря я вырвался из клиники посмотреть на праздничный Крещатик. На площади Калинина продавали елки. Очереди уже почти не было. Я вспомнил грустные встречи Нового года в госпитальных стенах. Я вспомнил лица больных в двух моих палатах. В кармане нащупал трояк, который все равно не спасал меня от финансового кризиса. И счастливый, с елкой на плече направился вверх по улице Кирова. Но мое счастье не шло ни в какое сравнение с восторгом больных. Действительно, больной человек не отличается от ребенка.

Елку поставили в опрокинутую табуретку. Украсили ее ватой, наспех склеенными бумажными цепями, импровизированными игрушками из станиоля. Сошлись ходячие. Распахнули двери соседних палат. С надеждой, забыв о болях и несчастьях, первая клиника встретила Новый год. Первый день 1952 года, был днем посещений. Елку продолжали наряжать уже

настоящими игрушками. А второго января исполняющий обязанности директора вклеил мне выговор... за нарушение санитарного режима клиники (хотя елка продолжала стоять там еще две недели).

Не знаю, пытался ли опротестовать выговор профессор, накануне благодаривший меня за елку. Таким образом, мне предстояло получить еще одно взыскание, а затем вылететь из института. В любое время я ощущал свою уязвимость, не зная, с какой стороны ждать удара.

Но три события предопределили мою судьбу. Последнее — возвратился из длительной заграничной командировки директор института, человек достаточно умный для того, чтобы грязную работу делать руками своего заместителя. Второе (о нем я расскажу подробнее), на несколько месяцев сделало меня нужным врачом в институте. А первое — ровно через год спасло мою жизнь.

Утром, во время обхода профессор велел мне взять маленькую палату на одну койку, в которую только что положили больного. Я хотел было отказаться, сославшись на то, что сегодня у меня девятнадцать больных, что завтра я дежурю, а через три дня должен сдать очередной экзамен. Но фраза, с которой обратился профессор: "Мне бы хотелось, чтобы именно вы вели этого больного", исключала сопротивление.

Больной был внешне симпатичным мужчиной средних лет с огромным уродливым резко болезненным рубцом вдоль всей ноги. Результат бывшего ранения разрывной пулей, к счастью, скользнувшей по касательной. На титульном листе истории болезни не было указано ни специальности, ни занимаемой должности, что я посчитал небрежностью приемного покоя. Правда, почему-то пациенту выделили отдельную палату, что случалось не часто. Кроме того, почему-то такую простую операцию (так мне казалось в ту пору) собирался делать сам профессор. Ассистентом он записал меня. Операция была назначена на завтра, на втор-

ник. Но профессор заболел. В пятницу он появился и назначил операцию на следующий вторник. Больной был раздосадован. Я его понимал. И должно же было случиться, что именно во вторник снова заболел профессор. Зима. Свиристствовал грипп. Профессор был далеко немолодым человеком. Случается. Пациент рассчитывал быть прооперированным послезавтра. Но профессор вышел на работу только в пятницу и снова назначил операцию на вторник. Когда же во вторник вновь заболел профессор, даже я почувствовал себя неловко.

Больной бушевал. Требовал, чтобы операция была сделана именно сегодня. Безразлично кем. Я спустился к профессору, — его квартира находилась на одной площадке с комнатой нашего общежития, — и рассказал ему о требовании пациента. Профессор утвердительно качнул головой:

— Скажите Максиму Соломоновичу. Пусть прооперирует.

Доцент Новик, как только я передал ему просьбу профессора, вспомнил, что он сейчас должен быть в костно-туберкулезной больнице, и тут же исчез.

Больной требовал операции. Я снова спустился к профессору. С обычной невозмутимостью он выслушал сообщение о том, что его заместитель уехал, и велел передать его просьбу второму доценту.

Антонина Ивановна тут же вспомнила, что у нее сейчас заседание парткома в медицинском институте, и немедленно ушла.

А больной бушевал.

— Пусть хоть санитарка оперирует, но только сегодня!

Я передал профессору, что происходит в клинике и высказал недоумение, почему, мол, только старшим доверена такая простая операция. Профессор как-то неопределенно улыбнулся и сказал:

— Ну что ж, оперируйте, если хотите. Выберите себе ассистента.

Если хотите! От радости перемахивая через две ступеньки, я помчался в клинику. Ассистировал мой бывший однокурсник. Постепенно, участок за участком мы обезболивали рубец и иссекали его, как в анатомическом театре на трупе, выделяя впаявшиеся в него нервные веточки. Смелость незнания! Мы не понимали, какие опасности подстерегают нас на каждом шагу. Поэтому операция шла размеренно и спокойно, сопровождаемая анекдотами пациента и время от времени — нашими. Мы не понимали опасности даже чисто профессиональной, где уж было понять, что существуют еще какие-то побудительные причины непрерывных заболеваний профессора и неотложных дел доцентов. Вечером я зашел навестить своего пациента.

— Ну, доктор, вот тебе моя рука. Я умею быть благодарным.

Ровно через год он доказал, что не бросает слов на ветер. Но даже тогда я еще не знал, кого мне пришлось прооперировать.

Забыл упомянуть, что кроме каторжной работы в клинике, я был обязан посещать университет марксизма-ленинизма и выполнять множество никому не нужных партийных поручений. А тут еще началась очередная избирательная кампания — очередной онанизм, и меня назначили агитатором.

Старшим агитатором был ординатор из нашей клиники — серенький, мало умеющий и еще менее знающий. Но украинец. Кроме того, в агитпункте у него отлично велась отчетность о всей липовой работе, якобы выполняемой агитаторами. Агитпункт стал исходным пунктом его вознесения. Мастера липы заметили и произвели его в инструктора отдела кадров министерства, отсюда — инструктором административного отдела ЦК, отсюда — заместителем министра по кадрам, где он сделался профессором, хотя в профессиональном отношении отстал даже от себя, ординарненького ординатора, и уже отсюда пошел на понижение — стал директором ортопедического института.

Но это все потом. А сейчас в агитпункте он, ординатор, идущий на два года впереди меня, но еще не делающий в клинике того, что доверяют начинающему врачу, смог получить полнейшую компенсацию. Он заставлял меня, в отличие от других, подающих липовые отчеты, проводить лекции и беседы в пьяных трущобах Козловки, что отнимало массу времени. К тому же, спускаться на Козловку по обледенелой полутропе-полулестнице для меня было настоящей пыткой. Однажды я не сдержался и высказал старшему агитатору все (кроме политики), что я думаю по этому поводу.

На следующий день меня вызвал исполняющий обязанности директора института. Без вступления он обрушил на меня ушаты отборнейшего мата. Мгновение я смотрел на его благородную седину с желтой подпалиной, напоминающую снег, на который помочилась собака, и вдруг ответил ему еще более отборным матом. Директор обалдело уставился на меня, не в состоянии произнести ни слова. Во время этой паузы я благополучно закрыл за собой дверь директорского кабинета. Совершенно случайно я сделал важное открытие: именно такая тактика дает мне возможность пока оставаться в институте. В течение полутора месяцев он еще несколько раз вызывал меня к себе. То ли хотел пополнить свой словарный запас, то ли попросту ему нужна была разговорная практика.

А потом произошло второе событие, которое, как я уже говорил, на время сделало меня нужным врачом. Из 2-й Подольской больницы к нам доставили молодого человека, аспиранта-орнитолога, который за два дня до этого был ранен на охоте. По его словам, он положил ружье на куст, а потом взял его за ствол. Спусковые крючки зацепились за ветку, и заряд из обоих стволов ранил правую кисть и предплечье. Рука была в ужасном состоянии.

Профессор велел мне ассистировать ему при ампутации. И тут я стал просить профессора не ампутировать руку. Профессор объяснил мне, что здесь уже

нечего спасать, что даже если бы удалось спасти руку, она не будет функционировать, что без ампутации существует угроза жизни, что при подобных обстоятельствах потеряли генерала Ватутина и т.д. Да, согласился я, пальцы не будут функционировать, но это все же своя рука, не культя, не обрубок. Да, существует угроза жизни, но я нахожусь в клинике и при первой же необходимости сделаю ампутацию. Больной лежал на операционном столе, отгороженный от нас стенкой. Но, как потом выяснилось, он слышал дискуссию, чего мы, конечно, не подозревали.

Профессор поворчал, но согласился. Часа два мы копались в ране, вытаскивали пыжи, дробь, куски одежды, разлохмаченные омертвевшие ткани. Аспиранта поместили все в ту же привелегированную маленькую палату.

В неурочное для посещения время пришли его родители. Осознавая бестактность своего поступка, я сказал, что вот, если бы каким-нибудь чудом можно было достать немного перуанского бальзама... (С таким же успехом я мог бы пожелать достать перо жар-птицы.) Вечером мать аспиранта принесла не капельку, не баночку — граненый стакан перуанского бальзама. Даже профессору, который, в отличие от меня, уже знал, что пациент — племянник председателя Президиума Верховного Совета, даже профессор был поражен, увидев во время перевязки такое количество драгоценного лекарства. Лечение, потом уже амбулаторное, продолжалось до конца лета. Пациент и его родители почему-то предпочли молодого врача знаменитостям, каждая из которых была им доступна.

А затем наступила осень 1952 года.

Многие считают, что очередной всплеск антисемитизма пятидесятых годов начался после опубликования правительственного сообщения о врачах-отравителях. Это не так. Еще накануне XIX съезда партии антисемитизм в институте приобрел разнузданные формы. Можно было безнаказанно издеваться над клиничес-

ким ординатором. Фигура небольшая. Даже над старшим научным сотрудником. Но то, что незамаскированному издательству подвергались Фрумина и Мительман, было симптомом где-то открывшихся вентилей. Без благословения свыше никто не посмел бы тронуть личного врача семьи Хрущева.

Уже в ту пору начался зловонный поток ардаматских и караваевых, namного предвосхитивших кочетовых и шевцовых. Просмотрите подшивку газет "Вечерний Київ" за это время. Дня не проходило без явно антисемитского фельетона. Какая-то сволочь постоянно клала на подушку моей постели свежую газету, раскрытую на фельетоне, героем которого были Ищики, Шмули, Абрамы, Хаимы. С той поры даже вид этой желтой газеты вызывал у меня отвращение.

Осенью 1952 года в Киеве, в клубе МВД (сейчас там театр юного зрителя) проводился знаменитый процесс Хаина. Группа обычных крупных воротил была вознесена в степень. Подсудимым инкриминировали экономическую контрреволюцию. Подчеркивалось, что она была предпринята евреями. Во всех учреждениях выдавались специальные пропуска на заседания суда. Взвинтили невероятный ажиотаж. Легче было достать билеты на гастроли Большого театра, чем пропуск на процесс.

Свидетелем по делу проходил и мой бывший шеф, заведующий кафедрой ортопедии института усовершенствования врачей. В связи с этим его исключили из партии и выгнали с работы. Кстати, свидетелем забыли пригласить первого секретаря киевского обкома партии Грызу, которому Хаин периодически проигрывал в преферанс по 14 000 рублей. Подумайте, какой сильный преферансист этот самый секретарь обкома! Правда, его тоже наказали. После расстрела Хаина и еще четверых его сообщников-евреев, Грызу на три года... направили в Москву, в Высшую партийную школу, после чего он был уже только министром совхозов.

В институте мне не стало житья. Исполнителем травли был мой товарищ по клинической ординатуре Скляренко. Каждый день, но только в присутствии различных людей он затевал разговор о моей дружбе с бывшим шефом, то есть о причастности к делу Хаина. Исполнял он это не без удовольствия, так как человек невероятно тщеславный и завистливый, он страдал от того, что оперирует и сдает экзамены хуже еврея. (Вероятно, надо было меньше завидовать и больше трудиться.) К тому же, будучи в оккупации, он, казалось, отрезал себе путь в партию, что, как он считал, помешает его карьере. Еще больше раздражало его то, что я вступил в партию на фронте, вообще не думая о карьере. Беспокойство его оказалось напрасным. Сейчас он в партии и карьеру сделал блестящую, не соответствующую его способностям. А начал он ее мелким провокатором, жалким подручным при травле сперва своего товарища по ординатуре, а затем — более крупных людей.

Однажды, когда в очередной раз он начал обличать евреев-воров, евреев-контрреволюционеров, настойчиво делая ударение на моей дружбе с бывшим шефом, я упомянул, что выдающийся преферансист, первый секретарь обкома, кажется, не еврей. Тут же Скляренко оправдал бедного Грызу, павшего жертвой еврейской подлости и коварства. Всю дорогу несчастный украинский народ страдает от евреев. Это жида-корчмари спаивали несчастных простодушных и непорочных украинцев, о чем писал еще Шевченко. Я подтвердил, что действительно, не будь евреев, невинные украинцы никогда не узнали бы вкуса водки.

Одного антисемита я упомянул. Почему же забыл написать фамилии остальных? Ну ладно, можно назвать уже покойного бывшего исполнявшего обязанности директора института исконного русака Климова и ныне здравствующего директора, бывшего старшего агитатора и бывшего заместителя министра, украинца Шумады. Но ведь не перечислишь даже ближайших



знакомых антисемитов. Имя им легион. И у каждого есть объяснения законности антисемитизма, либо почерпнутые у родителей, либо из текущей прессы, а вернее — из обоих источников.

Утром 13 января 1953 года в комнате-общезитии нас оказалось только двое из семи проживающих здесь клинических ординаторов. Из репродуктора хлестал на меня расплавленный чугунок правительственного сообщения о врачах-убийцах. Фамилии со студенческой скамьи почитаемых профессоров. Новое незнакомое слово "ДЖОЙНТ". "Ты не помнишь, каким это средством против инфаркта можно было убить страдавшего гипертонией Жданова?" — вдруг спросил меня мой товарищ. Именно услышав эту фразу, я отчетливо понял, что правительственное сообщение — грубо сработанная липа. Впервые в жизни я посмел так подумать об официальном сообщении. Значит и товарищ заметил эту фразу? Значит и он понял, что это ложь?

Однажды во время атаки я рассмеялся, увидев забавную сценку, хотя танковая атака не самое обычное место и время для смеха. Десантник соскочил в траншею чуть ли не на голову ошарашенного от неожиданности немца, которого наш солдат тоже не заметил до прыжка. (Мне они были видны оба с высоты башни танка.) Внезапность появления испугала обоих противников и они шарахнулись друг от друга в разные стороны траншеи.

Эту сцену я отчетливо вспомнил, увидев испуганные глаза моего товарища, задавшего мне неосторожный вопрос. Да и он увидел мой испуг в невразумительном ответе, что, мол, я слаб в терапии.

Институт бурлил. Больные отказывались от лекарств. Некоторые врачи и сестры — евреи — страшлись зайти в палаты. Объявили о том, что в конференц-зале состоится митинг. Заместитель директора института по науке подошел ко мне с предложением выступить. "Понимаете, коммунист, еврей, боевая биография". — "Возможно, но я плохо знаю терапию". — "Не

понимаю". — "А вдруг мне зададут вопрос, каким средством при лечении инфаркта можно убить страдающего гипертонической болезнью". Заместитель посмотрел на меня сумасшедшими глазами и отскочил, как от зачумленного. Митинг прошел как и положено. Осуждали. Проклинали. Требовали смертной казни через повешение. Клялись в верности ЦК и лично товарищу Сталину. Что-то распрямилось во мне. Как после начала атаки. Страшно только на исходной позиции. Страшно было осенью после XIX съезда партии. Страшно было до того, как я отказался выступить на митинге.

Примерно, в двадцатых числах января я перестал ожидать ареста, понимая, что если бы заместитель директора сообщил обо мне в МГБ, я был бы арестован немедленно. Да и вообще, сколько можно жить в страхе за собственную шкуру. Тем более, что по городу поползли слухи о депортации евреев, о том, что на Киеве-товарном уже стоят приготовленные эшелоны. Что будет с моим народом, то будет и со мной. Я знал, как ссылали чеченов, ингушей, калмыков, крымских татар, немцев Поволжья, гуцулов. Стыдно сейчас признаться в этом, но я даже верил, что это справедливый акт. Ну что ж, испытай на собственной шкуре подобную "справедливость". Я не понимал, что произошло. Ясно только, что кто-то дезинформирует ЦК и лично товарища Сталина.

В тот вечер, застав на подушке очередной номер "Вечернего Киива", развернутый на очередном антисемитском фельетоне, я вдруг взорвался. В комнате были все ее жильцы. Никто не ответил на заданный в угрожающей форме вопрос, какая сволочь положила газету? Только один из ординаторов что-то невнятно пробормотал, что, мол, пособникам американского империализма следовало бы быть менее воинственным. Я схватил его за грудки и изо всех сил обрушил на косяк двери. Ординатор рухнул, потеряв сознание. Тут же я схватил свою палку, собираясь дорого продать свою жизнь. Но пять человек, не обращая на меня вни-

мания, бросились оказывать помощь пострадавшему. Несколько дней со мной не решались заговорить. Больше на моей подушке не появлялась желтая газета. Спустя много лет я узнал, что наказал невинного. Газету подкладывал все тот же Скляренко.

Впрочем, не знал я в ту пору и о более страшных вещах. Услышал я о них впервые, примерно, через три с половиной года из двух противоположных источников.

Первый источник — доцент-еврей из нашего института. Вернее, из бывшего нашего института, потому что ни он, ни я там уже не работали, вытуренные оттуда. По строжайшему секрету он рассказал мне, как его вызывали на улицу Короленко, в МГБ, ровно к шести вечера. Восемь часов он изнывал от страха в каком-то мрачном замкнутом помещении, выйти из которого ему не разрешали сменяющиеся старшины. Сейчас, мол, вызовут. Не разрешали ему пойти помочиться. "Ничего, потерпишь". В два часа ночи его ввели в просторный кабинет. Направленные на доцента яркие лампы ослепили его, не давая возможности увидеть следователя. Но голос его показался знакомым. Уже где-то к утру доцент догадался, что следователь — это мой пациент, тот самый, у которого я иссек рубец, когда внезапно, в третий раз, заболел профессор. Тут доцент, как он сам в этом признался, от страха чуть не лишился сознания. Дело, видно, очень нештучное, если следователь — сам заместитель министра гос. безопасности Украины.

Оказывается, и профессор, и доценты знали, какого пациента предстоит оперировать.

Суть дела заключалась в том, что органам известно о функционировании в ортопедическом институте еврейской буржуазно-националистической организации, в которую входят такие-то и такие лица, в том числе — профессор Фрумина. Руководит организацией клинический ординатор Деген. Доцент уверял меня, что настаивал на абсурдности этого дела. Где, мол, логика? Деген в настоящее время подчиненный Фруми-

миной. Как же он может быть ее руководителем? К утру, совершенно обессиленный, но не сломленный, не давший никаких требуемых от него лживых показаний, он покинул страшное здание. (Забавно, — во время оккупации Киева в этом здании помещалось гестапо.)

Буквально через несколько дней после этого разговора я встретил на Печерске моего бывшего пациента. В тренировочном костюме, в легких сандалиях на босу ногу он выгуливал огромного роскошного сен-бернара. Почти сразу же после смерти Сталина мой пациент по болезни (по мнимой болезни) ушел в отставку. Это в дальнейшем спасло его жизнь. Он предложил мне прогуляться. Я охотно согласился. Ничем не дал ему понять, что мне уже известно, какая беда висела надо мной. Он-то и был вторым источником, из которого я узнал истинную историю дела.

Как только ему доложили об организации в ортопедическом институте, как только он увидел мою фамилию, ему стало ясно, что помочь мне можно лишь в том случае, если следствие будет вести он лично. О закрытии дела не могло быть и речи. Это вызвало бы подозрения. Но можно было довести его до абсурда, например, назвав меня руководителем организации, что при благоприятной конъюнктуре в будущем позволило бы пересмотреть дело и вытащить меня из тюрьмы. Доцент, как и все остальные свидетели, дал необходимые показания (а мне-то он сказал, что не давал! Долго еще мой максимализм не позволял простить его, несчастного. Долго еще я не мог понять, что сопротивление было бы бессмысленным, бесполезным, потому что альтернативой могла стать только смерть во время пыток.)

Затем заместитель министра стал тянуть время, распорядился пока никого не арестовывать, а установить наблюдение, чтобы выявить связь организации с сионистским подпольем. Так протянули около двух месяцев и ликвидировали дело за ненадобностью. Мой

пациент доказал, что не бросал слов на ветер, когда, пожимая руку, уверял, что умеет быть благодарным.

Наказав своего обидчика в комнате общежития, не имея представления о том, что мною интересуются на улице Короленко, я сбросил с себя последние пути страха. В ту пору я работал в клинике профессора Фруминой. Только по моему представлению амбулаторный больной мог попасть на ее консультацию. Претендентов всегда было намного больше, чем в состоянии была проконсультировать профессор. А я проводил совершенно определенную селекцию: дети власть предержащих на консультацию мной не записывались, если для этого действительно не было абсолютных медицинских показаний.

Упрямство мое удесятерилось, когда 15 марта (через десять дней после официального сообщения о смерти Сталина, в день, когда в МГБ закрыли дело о нашей несуществующей подпольной организации) директор института вызвал к себе Анну Ефремовну и сообщил ей, что через две недели, 1-го апреля, она увольняется с работы. Среди прочих абсурдных обвинений было и такое: клиническому ординатору-еврею, работающему врачом менее двух лет, она поручает операции, которых еще ни разу не делали врачи со значительно большим стажем, в том числе старший научный сотрудник, секретарь партийной организации института.

Трудно рассказать о мужестве профессора Фруминой, одного из основателей института, выдающегося ортопеда своего времени. словно ничего не произошло, словно через несколько дней ей не предстоит лишиться любимой работы, смысла ее жизни, каждое утро она являлась в клинику и продолжала руководить железной рукой. К концу дня старая маленькая женщина сникала в своем кабинете, отделенном от ординаторской незакрывающейся дверью. Мы видели ее обреченный взгляд, устремленный в бесконечность.

Однажды я не выдержал и посоветовал ей позвонить в Москву, Хрущеву. (Ей был известен его домашний

телефон.) Анна Ефремовна гордо отказалась даже от самой мысли об этом. Щепетильность, понятие об отношении между врачом и пациентом не позволяли ей прибегнуть к подобной протекции. В течение нескольких дней я не отставал от шефа, настаивая на том, что она обязана позвонить Хрущеву не ради себя, а для блага больных детей. Вечером 23 марта она позвонила. Нина Петровна Хрущева была возмущена случившимся и пообещала сообщить об этом мужу. На следующий день беспартийного профессора Фрумину вызвали в ЦК и уведомили, что приказ директора института отменен. Не извинились, не объяснили, не пришли к ней, нет — вызвали и уведомили.

А 4-го апреля в "Правде" появилось сообщение о том, что дело врачей оказалось ошибкой.

Антисемиты в институте приуныли, посчитав, что это может изменить официальное отношение к евреям, следовательно, ухудшит их шансы. В пылу спора Склярченко даже осмелился сболтнуть, что это сообщение, в отличие от первого, не соответствует действительности, что оно просто необходимо сейчас как политический маневр.

Фрумина уцелела. Но в первой клинике к этому времени не осталось ни одного еврея. Уволили выдающегося профессора, заведовавшего пятой клиникой, заменив его невеждой в полном смысле этого слова, посмешищем не только среди врачей, но и среди студентов. Институт был на пути к своему нынешнему состоянию.

После короткого затишья начался новый тур преследований профессора Фруминой. На сей раз дело должно было быть сработано руками клинических ординаторов. Мол, начальство реагирует только лишь на критику снизу. Профессор обвинялась в том, что саботирует подготовку украинских национальных кадров ортопедов. Более смехотворного повода нельзя было придумать. Часами можно было бы рассказывать, как изощрялась Анна Ефремовна, чтобы передать свои

знания, опыт и умение молодым, как возилась с тупыми ординаторами, стараясь хоть как-то вылепить из них подобие врачей.

Председателем комиссии был невежда — заведующий пятой клиникой, предводителем "обиженных" ординаторов — Скляренко. Мое выступление, в котором всему этому делу была дана квалификация очередной антисемитской кампании, отрывкой "дела врачей-отравителей", было названо провокационным. Но почему-то и обвинения ординаторов и мое выступление остались без последствий. Забавно, а вернее противно было наблюдать, как гонители Анны Ефремовны лебезили перед ней, клянясь в любви и благодарности.

Еще в студенческие годы я мечтал об исследовании, посвященном костной пластике при дефектах после огнестрельных ранений. Это естественно, потому, что именно ранения привели меня в медицинский институт. Идея выкристаллизовалась. Но при существующем положении нечего было и мечтать о плановой теме. За рубль, за трешку мальчишки ловили мне бездомных собак, и я оперировал, если было место в экспериментальной операционной, если мог найти ассистента, если можно было договориться с заведующим виварием о помещении туда прооперированной собаки. (Недавно с профессором Резником мы вспоминали, как он, всегда ощущающий дефицит времени, однажды ассистировал мне, приехав в Киев.) Руководство узнало о моей подпольной научной работе, но не стало мешать. Я решил, что это плата за диссертации, которые я делал некоторым, скажем, не очень одаренным сотрудникам института. Спустя много лет я узнал об истинной причине либерализма начальства. Заведующий гистологической лабораторией получил приказ умерщвлять мои препараты. Он сам рассказал мне об этом, стыдливо уставившись в рюмку.

— Простите меня, грешного. Но что я мог сделать. Вы же помните, какое это было время.

Тогда же, в ту пору я был поражен, увидев резуль-

таты микроскопических исследований. Они абсолютно не соответствовали клинической картине. За консультацией я обратился к крупнейшему киевскому патолого-анатому. Профессор посмотрел препараты, потом, заговорщицки улыбнувшись, спросил:

— Какая отметка у вас была по гистологии?

— Отлично.

— Ну и зря. Чем декальцинирована кость?

— Семипроцентной азотной кислотой.

— Правильно. А если процент будет выше?

Я был поражен.

— Но ведь этого не может быть! Это ведь жульничество в науке!

— Правильно, жульничество.

— Но ведь это невозможно!

— Все возможно, юноша, все возможно... Жаль. У вас очень интересная работа. Ее надо сделать.

(Спустя одиннадцать лет, в Москве, в ученом совете Центрального института травматологии и ортопедии за эту работу мне решили дать степень доктора медицинских наук, но, понимая, что возникнут проблемы, ограничились искомой мною степенью кандидата.)

Я решил бороться. То, что я придумал, казалось мне необычайно простым, легким и неопровержимым. Допустим, после моей операции кость действительно умирает, хотя все, что я наблюдал, убеждало меня в противоположном. Но если взять ткань только-что забитого животного, я обязан получить ответ, что она жива. Так я и сделал. Однажды, когда забивали собаку, я тут же взял у нее еще живое ребро и сдал на исследование. Ответ был все тем же — кость мертва. Возмущенный, но уже ликующий от предвкушения победы, я обратился к секретарю партийной организации, игнорируя то, что она любовница исполняющего обязанности директора института (директор снова укатил в длительную заграничную командировку). Действительно, и она, и прочее руководство на первых порах были смущены и несколько растеряны. В инсти-



туте моя проделка произвела впечатление взорвавшейся бомбы.

И вот партийное собрание. Дирекция института перешла в наступление, обвинив меня в шантаже и подлоге. Выступил я очень сдержанно и спокойно. В любой момент я согласен повторить эксперимент, сдать материал для гистологического исследования главному патолого-анатому министерства здравоохранения (профессору, к которому я обращался за консультацией), и пусть на основании его заключения партийная организация решит, кто занимался подлогом.

Интересны были выступления двух доцентов. Они вдруг обратили внимание на актуальность моей работы. Возмутительно, что вместо поддержки, такая работа натывается на противодействие. Не от хорошей жизни исследователю приходится пускаться на подобные трюки, чтобы схватить лабораторию за руку в кармане. Один из доцентов, мрачноватый выпивоха-украинец сказал, что без затруднения поверил бы, что я кого-нибудь отматюгал или дал кому-нибудь по морде. Но никто никогда его не сможет убедить в том, что я способен на нечестный поступок.

Надо отдать должное секретарю партийной организации. Она быстро нашлась и сориентировалась в возникшей ситуации. "Да, товарищи, нельзя исключить возможности ошибки лаборатории. Но ведь Деген проявил индивидуализм, непартийное поведение. Почему со своими подозрениями он не пришел ко мне, к своим товарищам по партии?"

Не сомневаюсь, что на собрании не нашлось ни одного простачка, убежденного в этом смехотворном тезисе. Тем не менее, мне объявили выговор за непартийное поведение при исполнении научной работы.

А через несколько дней вызвали в райком партии и сообщили, что посылают меня на целинные земли, в Кустанай, областным ортопедом-травматологом. Я отказался, сославшись на объективные причины: жена на четвертом месяце беременности, она продолжает

учиться, назначение у нее после окончания института в Донецк, мне до конца ординатуры осталось еще полгода, инвалидность дает мне законное право жить и работать там, где мне удобно. Все мои доводы были отмечены один за другим. Единственной правдой было то, что, на свое несчастье, я действительно досрочно сдал все экзамены, прошел все клиники и фактически окончил ординатуру. А что касается инвалидности, то существует партийная дисциплина. Если партия приказывает ехать, следует подчиниться.

В теплый июньский вечер проводить меня, изгнанного из института, если называть вещи своими именами, оставляющего беременную жену, еще не окончившую институт, на вокзал пришло людей чуть меньше, чем потом, когда мы будем уезжать в Израиль. Друзей, знакомых и даже не очень знакомых людей на перроне собралось так много, что это напоминало демонстрацию. А, может быть, и вправду это была необъявленная демонстрация евреев против дискриминации, против антисемитизма, против вопиющей несправедливости в самом, так называемом, совершенном и справедливом государстве?

## КАНУН И НАЧАЛО ЭПОХИ ПОЗДНЕГО РЕАБИЛИТАНСА

Только Ленин на невысоком облупившемся постаменте встречал меня на перроне кустанайского вокзала. Возможно, в угоду национальным чувствам "хозяев земли", скульптор сделал его похожим то ли на казаха, собирающегося убить волка, напавшего на его баранов, то ли самого намеревающегося напасть с целью ограбления. На незамощенных улицах теплый полынный ветер затевал игры с пылью, закручивал смерчи и обрушивал их на головы редких прохожих. Чахлаю запыленную растительность, кое-где торчащую между строениями, даже в шутку нельзя было назвать зеленью. Из подслеповатых окон глинобитных одноэтажных домишек уныло глядело безнадежное убожество. На этом фоне поражало своей монументальностью четырехэтажное здание обкома партии.

Меня определили на постой в один из домиков напротив больницы. Крошечная комната с глиняным полом едва вмещала две койки (одна из них уже была занята врачом), стол и две табуретки, из которых функционировала только одна, так как на второй стояло ведро с водой и кружка. В сенях, куда открывались двери обеих жилищ — нашего и хозяйки, висел допотопный рукомойник. Миску мы выносили в ветхую уборную, каждую секунду грозящую рухнуть. Располага-

лась она позади хозяйственного дворика, по которому шныряли два поросенка и несколько нахальных кур, постоянно норовящих попасть в комнату.

В день приезда, по неопытности, я пошел пообедать в столовку "Голубой Дунай". Так неофициально ее почему-то окрестили ханыги. Ничего голубого я там не обнаружил. И вообще цвета были неразличимы из-за неправдоподобного количества мух. Несколько мух тут же покончили жизнь самоубийством в поданных мне щах. Но меня это не огорчило, потому что мутная водичка с несколькими листиками сомнительной капусты и до попадания мух была несъедобной. Второе блюдо оказалось подстава первому. К тому же я имел глупость попросить вытереть грязные лужи на столе, что официантка безропотно сделала, по-видимому, половой тряпкой, распределив грязь на столе ровным слоем.

Соседом моим оказалось существо мужского пола в возрасте между сорока и шестьюдесятью годами. Существо с потухшим взором, с лицом, упирающимся в грязные кулаки, с локтями в лужах на столе. Существо не реагировало ни на мух, ни на мое появление, ни на тряпку, смахнувшую со стола его локти. Бессмысленные полуприкрытые глаза. Не знаю, какой тумблер щелкнул, какая система замкнулась и сработала, но глаза вдруг зажглись, стали ясно-голубыми, осмысленными, более того — одухотворенными. Он начал читать Есенина. Но как! Выбор стихотворений свидетельствовал о безупречном литературном вкусе. Самые сокровенные слои подтекста были видны в его чтении. Когда он закончил "Песнь о собаке", комок подкатил к моему горлу. Но тут чтец так же внезапно выключился. Погасли глаза. Тщетными оказались мои попытки растормошить его. Заказанные для него сто граммов водки стояли перед ним на столе, не вызывая ни малейшей реакции. Лишь когда я вложил стакан в его руку, он совершенно машинально опрокинул его в себя, ни одним мускулом не отреаги-

ровав на выпитое.

За соседним столиком двое в такой же брезентовой робе, как на моем сотрапезнике, все время наблюдали за нами.

— Не тронь его. Студент уже вырубился.

— Студент!

— Был. Пятнадцать лет отсидел по 58-й. А сейчас у него десять лет по рогам.

Я знал, что 58-я статья — это политические преступления против советской власти. Но что такое "по рогам", мне было еще неизвестно. Какое-то неудобство, какой-то страх сковал меня. Ощущение, что я прикоснулся к запретному, к неприкосновенному, не позволило мне тут же пополнить свое политическое образование. Да и позже.

Постепенно я узнавал, что "по рогам" — это ссылка, что Кустанайская область — место ссылки не только заключенных. В тридцатых годах сюда ссылали "раскулаченных" украинцев. В начале войны — немцев Поволжья. Потом — ингушей и чеченов.

Украинцы и немцы в основном прижились. "Кулаки" умели работать. Появились отличные огороды, невиданные прежде на этой земле. Ингуши вымирали от туберкулеза и поножовщины. Великая дружба народов демонстрировалась здесь количеством задушенных арканом, убитых ножом или топором.

"Дружбой народов" называли и колбасу из конины с вкраплениями свиного сала, которое не едят мусульмане. Многие ели. Только было бы.

На общем фоне "дружбы народов" еврейская проблема особенно не выделялась. Подчиненные величали своего большого строительного начальника-еврея "жидовской мордой". Просто сукиным сыном называли его несколько евреев, работавших в этом строительном управлении. Среди них был и плотник-богатырь с обычной для Кустаная биографией.

В 1938 году его, заместителя председателя Совета Народных Комиссаров Молдавской АССР арестовали.

Десять лет по статье 58-й. В Удмуртии на лесопилке он стал одним из лучших лесорубов страны. Не по принуждению. Он искренне считал, что его арест — какая-то трагическая ошибка. Она должна, она обязательно будет исправлена. А пока все свои силы он отдаст родине, партии, верным сыном которой он всегда остается. В 1948 году, отсидев свои десять лет, он был освобожден. Но до родного Тирасполя не доехал. Его арестовали в пути и дали еще пять лет. А сейчас он на поселении. Работает плотником в строительном управлении. Ежедневно выполняет две нормы. И дважды в день отмечается у коменданта.

Однажды ко мне на прием пришел мужчина, чье тонкое нервное интеллигентное лицо казалось случайно, по ошибке приставленным к брезентовой робе. Лицо показалось мне знакомым. Поняв мой взгляд, пациент насмешливо улыбнулся. Я прочитал его фамилию на амбулаторной карточке и смутился. Это тоже не осталось незамеченным пациентом, в прошлом прославленным генералом Отечественной войны, командовавшим танковой армией. Страх пересилил любопытство. Внимательно, но официально я осмотрел его и назначил лечение. Уходя, генерал оглянулся и, сощуривав колючие глаза, сказал: "Я слышал, что на войне вы были смелым танкистом". До сегодня я ощущаю эту заслуженную пощечину.

Встречи с осужденными по 58-й статье смущали меня. Они постепенно ломали мое мировоззрение. Оказывается, дело врачей было не единственной липой. Анализируя все, что знал, видел и слышал, я пришел к убеждению, что здоровое тело партии Ленина переродилось в раковую опухоль, разъедавшую страну. (В ту пору мне было известно далеко не все, что я знаю сейчас. Но даже известное я не умел систематизировать, выстроить в логическую цепь, чтобы следствие не считать причиной.) Образ обожаемого Сталина не просто тускнел, а приобретал свои истинные злоецие очертания.

Однажды невольно я подслушал ночной разговор в палате:

– Большой, я тебе скажу, падлы, чем вождь и отец, России еще не доставалось.

– А все-таки были у него и достоинства.

– Какие такие достоинства у него, душегуба, ты увидал?

– Войну, чай, без него проиграли бы.

– Ну, брат, и дурак ты. Во-первых, кабы не он, то и войны, может, и не было бы. А во-вторых, наложил он полные штаны, когда его закадычный дружок войной пошел. Чего ведь он считал, что нет его хитрожопее на свете. А что победили, то не он, не большие начальники даже, а солдаты серые. Глянь-ко, на каждого убитого германца более трех наших. Одних кустанайских-то сколько полегло.

– А жидов, скажешь, он не приструнил? Ох и не любил же он их!

– Ну, приструнил. Ну, не любил. А тебе-то легче стало? Да и тут, видно, дьявол над ним потешился. В семью ему жида подсунул.

– Это семиозерского, что ли?

– Ну. А еще сказывают, что через жидов он и окачурился. Как затеял он дело против врачей, так его дружки за границей от рук отбились. Тут его и хватил кондратий. Коль правда это, то всю жисть на жидов молиться буду.

Всякий раз, когда мне приходилось прилетать в Семиозерку – районный центр Кустанайской области, меня почему-то обязательно пытались познакомить с сосланным сюда зятем Сталина. Единственной виной его было то, что он еврей. Сославший тесть умер почти полтора года тому назад, а ссылка все продолжалась – и при Маленкове и при Хрущеве. В данном конкретном случае я не трусил, но всегда появлялась причина, мешающая познакомиться: то операция затягивалась дольше запланированного времени, то надо было посмотреть еще нескольких больных. И всегда торопил

пилот, боявшийся садиться в сумерки. А еще больше торопило время. Я жил в постоянном цейтноте.

Единственный ортопед на всю Кустанайскую область. По площади это вместе взятые Албания, Бельгия, Дания, Нидерланды, Швейцария да еще Израиль впридачу. Травматизм был невероятным, как во время войны. Освоение целины осуществлялось с истинно русским размахом и с истинным отсутствием мозга. На площади 200.000 квадратных километров был ничтожно короткий тупиковый отрезок железной дороги, связывающей Кустанай с Южно-Уральской магистралью. Не было ни единого километра дороги с твердым покрытием. В сухую погоду по грунтовым дорогам, вытряхивая души водителей и ломаясь на выбоинах, сновали десятки тысяч грузовиков, пригнанных со всех концов страны. В дожди дороги становились непроходимыми или почти непроходимыми. Тракторы растаскивали иногда километровые заторы.

Элеваторов едва хватало на обычное для области количество зерна. Убранную с целинных полей пшеницу некуда было девать. Влажная, под временными навесами она начинала гореть. Даже учеников первого класса, семи-восьмилетних крох пришлось мобилизовать, чтобы перелопачивать горящий хлеб. Пригнали воинские части. Неопытные армейские водители увеличили и без того катастрофический травматизм.

Командированные водители грузовиков, месяцами не раздеваясь, ночевали в кузовах, на зерне, или в кабинах своих автомобилей. Есть было нечего. Людям. Разжиревшие воробьи с трудом взлетали со щедро рассыпанного по дорогам зерна. Интересно было бы подсчитать, во что в 1954 году обошелся Советскому Союзу килограмм целинного хлеба? Даже не включая стоимости бесценной человеческой жизни. Советская власть не врала: здесь человеческая жизнь была действительно бесценной, потому что ничего не стоила.

Для самообороны у меня была моя увесистая



палка. К тому же, во внутреннем кармане пальто я носил большой ампутационный нож, постоянно заставлявший меня ощущать напряжение: рукоятка находилась в кармане, а длинное обоюдоострое лезвие торчало, концом своим едва не достигая подбородка.

Но однажды все мои средства самообороны оказались несостоятельными. Я переходил улицу, направляясь из больницы домой. Был поздний дождливый вечер. В глубокой колее увязли мои ноги (здесь трудно было даже в сапогах, а я вынужден был надевать калоши на ортопедическую обувь) как раз в тот момент, когда из-за угла на значительной скорости вырвался ослепивший меня грузовик, а за ним еще, и еще, и еще. Все. В это мгновение я отлично сообразил, что ради случайного прохожего колонна не остановится, чтобы увязнуть и до утра ждать трактора. И никакой возможности вырвать ноги. Обидно. Глупая смерть. Грузовик почти прикоснулся ко мне бампером и внезапно остановился. Шофер выскочил из кабины.

— Ну, доктор, благодари Бога, что я тебя разглядел. Не узнаешь? Да я же приходил в больницу, когда ты моего кореша спас.

Я не узнавал. Но это уже не имело значения. Он помог мне выбраться из грязи. Матеря все на свете, подходили шофера остановившихся машин. Мой спаситель оправдывался, говорил о каком-то Колюне, которого я оперировал.

— Да он вроде бы не наш, не русский.

— Наш он, братцы, наш, доктор он!

Через несколько часов, уже после рассвета трактора вытащили колонну.

Кроме позорного случая с генералом, со всеми пациентами у меня устанавливались самые дружеские отношения — с вольными, местными и прибывшими, с поселенцами по 58-й статье, с немцами и ингушами. А тут я познакомился с еще одной категорией кустанайцев.

Трудно объяснить, что представлял из себя мой

рабочий день. Утром я оперировал. Иногда до двух, иногда до трех, а иногда до пяти часов дня. Затем обход, назначения, клиническая рутина. Два часа амбулаторного приема. После приема повторный обход в больнице. Иногда в эти часы снова приходилось становиться за операционный стол. И так до утра. А утром либо плановые операции, либо лететь куда-нибудь к черту на кулички в Амангельды или Тургай, один из районных центров (более 5 часов лета на "кукурузнике", прекрасные часы: можно почитать или поспать), где снова операции и прием больных. А по возвращении все с начала. Когда подряд скапливалось более пяти бессонных суток, я забирался в свою конуру и засыпал. Мог проспать сутки и более. Вечно голодного, меня не могло разбудить даже обещание райского обеда.

Но работники отделения очень скоро обнаружили безотказный будильник. Я ненавидел даже само слово ампутация. Стоило кому-нибудь из сестер или санитарок постучать в мое окно и сказать, что, если я не приду, сейчас начнут ампутацию, как я немедленно вскакивал и шел в больницу. Так было и в ту ночь. Постучали в окно:

— Нариман Газизович собирается ампутировать руку. Ждет вашего разрешения.

Мужчина лет 35-ти. На кирпичном заводе правая рука попала в трансмиссию. Нариман Газизович был прав. Восемь переломов, огромная скальпированная рана. Ампутация показана абсолютно. И все же я решил попытаться. Несколько часов воевал с отломками. Уже сопоставил отломки плеча. Начинаешь манипулировать на предплечьи — насмарку идет вся предыдущая работа. И так несколько раз. Наконец, наложен гипс. И надежда на тот ускользающе малый шанс, на который не имеет права не надеяться врач.

Рука у Кости Бонадаренко не только уцелела, но и функционировала достаточно хорошо. Костя — бандеровец. Был осужден на 15 лет. Сейчас на поселении.

Бандеровец?! Я учился в Черновицах. Одна из причин нашего хорошего знания анатомии — большое количество трупов в анатомке. В трупах нет недостатка, потому что убивают бандеровцев. Повседневная пропаганда приучила меня к тому, что нет зверя более лютого, чем бандеровец. А тут Костя Бондаренко, мягкий, терпеливый, добрый. Костя, в которого я вложил все свое умение, всю душу. Вообще все спуталось в этом кустанайском вместилище дружбы народов."

В сентябре начались снежные метели. Ко всем бытовым бедам прибавился холод в нашей комнате. Собственно говоря, бытовые беды — это только постоянный голод. О "Голубом Дунае" я уже рассказал. Была в Кустанае еще одна столовая полузакрытого типа, где я мог питаться. Столовая обкома партии. Беда только, что когда я освобождался, там уже все было съедено, а чаще я натыкался на запертую дверь. Хлеб, за редким исключением, мне доставала хозяйка.

В одно из длительных исключений совершилось мое грехопадение. В тот день из Семиозерки приехал мой киевский приятель Витя. Невысокий, крепко сложенный, с добродушной всегда улыбающейся физиономией еврейский парень, он был одним из лучших кустанайских геологов. Как и я, мечтая о куске хлеба, он выскребывал из стеклянной банки остатки баклажанной икры. На минуту я оставил его, чтобы посетить ветхое строение позади хозяйственного двора. Вернувшись, я застал фантастическую сцену. Перед Витей высился огромный каравай невиданного в Кустанае белейшего хлеба с коричневой запеченной корочкой, гора сливочного масла и сваренная птица, оказавшаяся просто курицей-чемпионкой, а не индейкой, как мне сперва показалось. Витя терзал птицу, стараясь как можно быстрее придать ей нетоварный вид. Глаза его хитро блестели, щеки лоснились, а до неправдоподобия набитый рот издавал какие-то невнятные звуки в ответ на мой вопрос, откуда все это изобилие. Только насытившись, Витя рассказал, что здесь побывал благо-

дарный пациент, не назвавший своего имени, что пациент не только не пожелал дожидаться меня, но даже специально улучил момент, когда меня не будет в комнате. Вот и все. Я и сейчас не знаю, кого благодарить за несколько сытых дней моего кустанайского существования.

Свистящие сентябрьские метели пробирались в мое жилище. Вода в ведре на табуретке и в рукомойнике в сенях замерзала. Умываться можно было и снегом. Но спать приходилось натянув на себя все, что у меня имелось. И ходьба по улицам стала почти невозможной. Начальство, справедливо видя во мне временного, не пыталось улучшить мой быт.

Травматизм пошел на спад. Шоферы, погудев на площади перед обкомом партии, как ни странно, добились того, что их потихоньку стали отпускать домой. Во всяком случае, им заплатили часть зарплаты. Мне это представилось симптомом каких-то перемен к лучшему. При папе Сталине им бы погудели! Армия отступила. Ученики приступили к занятиям. Потом и кровью добытое зерно на токах под брезентом оставалось дожидаться лучших времен, постепенно превращаясь в дерьмо.

У меня появилось какое-то подобие двенадцатичасового рабочего дня. Ночью будили редко, не чаще раза в неделю. В конце октября нервы мои были напряжены до предела. Я ждал телеграммы о рождении сына (почему-то был уверен, что родится сын). Прошли уже все положенные сроки, а телеграммы не было. Еще месяц тому назад министерство разрешило мне уехать, но я должен был передать больных в надежные руки.

Проводить меня на вокзал неожиданно пришло много людей. Ленин на своем постаменте уже со снежным малахем на голове безучастно смотрел как прямо на перроне распивается спирт, принесенный патологоанатомом. Директора совхозов старались перецеголять друг друга привезенными закусками. А один из

них упорно пытался вручить мне чек на две тонны пшеницы. Идиот! Как я ругал себя спустя короткое время за то, что гордо отказался от этого подарка! (Как и от многих других.)

Но один подарок растрогал не только меня. Он потряс всех собравшихся на перроне. Принести зажаренного поросенка, конечно, не представляло никаких трудностей для директора свиновхоза. Принести чек на две тонны пшеницы было пустяком для директора огромного зернового хозяйства. Но букетик "анютиных глазок" зимой, в Кустанае, где даже летом не видят цветов! С изумлением, даже с завистью провожающие посмотрели на бандеровца Костю Бондаренко, когда из-под полы своего засаленного бушлата он извлек драгоценный букетик. Снова выпили. Именно в это время в Киеве родился мой сын.

Он не торопился появиться на свет, явно нарушая физиологические сроки. Возможно, во внутриутробной жизни ему уже было известно, что ждет еврея в Советском Союзе?

(Еще работая в ортопедическом институте, я как-то спросил свою коллегу, грамотную умную добрую девушку, почему она не выходит замуж. Она улыбнулась, отчего ее иудейские глаза стали еще грустнее, и ответила: "Не хочу на горе плодить евреев". Спустя много лет мы встретились в Москве. Она была матерью двух русских сыновей. Отличную генетическую информацию они могли унаследовать по материнской линии. Я далек от мысли о еврейской интеллектуальной исключительности, чему, к сожалению, доказательство — наше государство. Ничего худого я не собираюсь сказать о русском народе. Но сколько выдающихся имен в русской науке получили в наследство еврейские гены! Десятка два наиболее видных современных советских русских физиков — дети еврейских матерей. Но это тщательно скрывается. Даже то, что мать Ильи Мечникова еврейка, чуть ли не государственная тайна. И, может быть, к счастью, только дотош-

ная Мариетта Шагинян докопалась до еврейского происхождения некой Марии Александровны Бланк. Это, впрочем, так, походя.)

Стояли последние дни изумительной киевской осени. Но мне было не до золотого листопада. Денег, заработанных в Кустанае, могло хватить не надолго. Четыре месяца тому назад жена закончила институт и еще не работала. Сейчас она родила, и Бог знает, куда ей удастся устроиться на работу. До нашей женитьбы студенческая стипендия жены несколько месяцев была единственным источником существования семьи из четырех человек. В связи с делом врачей маму, научного сотрудника института бактериологии, уволили с работы. Человек ненужной в Советском Союзе честности, она имела глупость указать в анкете, что у нее есть брат в Филадельфии. Долгие годы она не общалась с родным братом, не без оснований опасаясь обвинений в связи с Америкой. Зачем же надо было упоминать о нем в анкете? Впрочем, кто знает, вероятно, нашли бы другую причину лишить ее куска хлеба. Старая бабушка и младшая сестра жены были нетрудоспособны.

Сейчас при поисках работы у тещи обнаружилось явное преимущество передо мной — внешне она не походила на еврейку. Но иногда это причиняло еще большую душевную травму. Однажды, узнав, что в онкологическом диспансере срочно нужны врачи-лаборанты, теща немедленно отправилась в Георгиевский переулок. Главный врач встретил ее с распростертыми объятиями. А узнав, что она владеет биохимическими методами исследования, не знал, куда ее усадить. Тут же велел заполнить анкету и хоть завтра приступить к работе. Но прочитав фамилию, мгновенно изменился и грубо заявил, что розенберги здесь не нужны. Теща, с трудом сдерживая слезы, рассказала об очередной безуспешной попытке. Я тут же захотел пойти бить морду, но благоразумные женщины удержали меня от бессмысленного и опасного поступка. Да и сколько

морг я мог побить?

В дни свободные от поисков работы я отправлялся во двор большого гастронома на Крещатике, если там "давали" нужные продукты. Предполагалось, что я, пользуясь своим правом, могу без очереди "взять" двести граммов масла или полкило сахара (норма "в одни руки"). Но пользоваться своим правом было неудобно, и я часами выстаивал в очереди, узнавая, что во всех несчастьях страны повинны жидаы, или, в лучшем случае, — евреи. Даже Берия и его подручных в ту пору приписали к евреям. Это было удобно.

В течение семи месяцев я почти ежедневно посещал сектор кадров киевского горздравотдела, надеясь получить хоть какую-нибудь работу. Основная масса просителей — евреи. Были, конечно, и русские, и украинцы, и представители других национальностей. Но они отсеивались в течение одной, максимум — двух недель. Они получали направление на работу. Постоянными были евреи. Некоторые, отчаявшись, прятали свои медицинские дипломы и шли туда, где была возможность устроиться. Отличный уролог несколько лет проработал токарем. Стоматолог — ударником в ресторанном джазе. Еще один стал таксистом. Спустя несколько лет у меня состоялась забавная встреча с бывшими врачами.

В пустыне поисков какого-нибудь заработка я внезапно набрел на сказочный оазис — Общество по распространению научных и политических знаний. Я подрядился распространять знания о новейших достижениях советской хирургии, естественно, самой передовой в мире. Оазис платил сто рублей за лекцию. Правда, тут же подбрасывали минимум еще одну шефскую, за которую не платили. Правда, читать эти лекции приходилось в селах Киевской области, в которые не так-то просто было добраться. Аудиторией моей были преимущественно голодные колхозники или почему-то пьяные в любую погоду работники МТС.

Устроившись на работу, я почти прекратил свой

просветительский промысел, прибегая к нему только в исключительных случаях. Человек с постоянным заработком, не дающим умереть от голода, мог себе позволить некоторую селективность аудитории. Не по составу, а по расположению. Слушателями моими стали работники небольших заводов или артелей в черте города.

Однажды в декабре ко мне обратились руководители оазиса. Срочно необходимо прочитать двадцать лекций. Кончается финансовый год. Горят деньги. Урежут сметы по статьям, на которых останутся неиспользованными в течение года средства. Так как это предложение совпало с исключительным случаем (жене понадобилось зимнее пальто), я охотно согласился сеять разумное, доброе, вечное.

В дождливый день конца декабря меня занесло в какую-то шарагу во дворе на Красноармейской улице рядом с кинотеатром "Киев". В тускло освещенном полуподвале клеили чемоданы. Аудитория — человек двадцать пять чемоданщиков — попросила у меня прощение за то, что слушать лекцию будут без отрыва от производства. План. Конец года. Мне было абсолютно безразлично. Сотворялась, кажется, двадцатая лекция. Меня уже тошнило от заигранной пластинки, шелкающей на тех же островах и плывущей на той же улыбке в конце одного и того же абзаца. Побыстрее оттарабанить, получить подпись и печать на путевке и прощай ненавистная халтура (до следующего исключительного случая).

Я знал, что в конце лекции, как и обычно, зададут несколько вопросов, ничего общего с темой лекции не имеющих, например, как вылечить геморрой, или к кому обратиться по поводу... и т.д. Но первый же вопрос поразил меня глубоким пониманием предмета. Подстать ему были и последующие. Около двух часов, не замечая времени, вышвырнув заигранную пластинку лекции, я самым добросовестным образом отвечал на съплюющиеся от чемоданов интереснейшие вопросы.



Я так увлекся, что даже перестал удивляться необыкновенной, нет, не интеллектуальности — профессиональности аудитории. До выхода из полуподвала меня провожал весь цех. Это было действительно очень приятно, потому что, как выяснилось, аудитория почти наполовину состояла из нескольких инженеров, перенесших инфаркт, и из врачей, отказавшихся поехать на целинные земли. О национальности врачей не стану писать, дабы не услышать упрека в переизбыточности информации.

Сектор кадров киевского горздравотдела в ту пору был органом безупречным. Заведовала им врач-администратор, некая Романова, строгая, справедливая, неприступная. Одним словом, идейная коммунистка. Очень идейная.

Прошу простить меня за отступление. В небольшом населенном пункте недалеко от Киева был спиртзавод. Надо ли объяснять, что все работающие на этом своеобразном монетном дворе, вернее, все, имеющие малейшую возможность, воровали спирт.

Этиловый спирт! Где он, гениальный русский поэт, который воспевает двигательную силу этого магического напитка? Где он, выдающийся экономист, сумевший объяснить, что не золото, а этиловый алкоголь — основа советского денежного эквивалента. Ну что, золото? Возможно, его и вправду фетишизируют? Но кто посмеет заподозрить фетиш в спирте? Абсурд! Спирт не фетишизируют, а пьют.

Так вот, на упомянутом заводе, не являвшемся исключением в своей системе, спирт потребляли распивочно и на вынос. Лишь один-единственный человек, восстанавливавший завод после войны, десяток лет на нем проработавший, не вынес через заводскую проходную ни капли спирта. Бессменный освобожденный секретарь партийной организации завода. Его боялись пуще огня. Если на каком-нибудь профсоюзном или партийном собрании о краже спирта трепался директор или начальник цеха, можно было спокойно прослушать

громы — дождя не будет. Ведь сами, гады, воруют. Но секретарь — не дай Бог! У него же, у сволочи, полное право сдирать шкуру. Он же чист, как спирт. И вдруг в доме секретаря (а жил он в двух шагах от завода) возникла женская баталия. Домашняя работница разругалась с женой, хлопнула дверью и разнесла по всему спиртзаводскому поселку, что в письменном столе ее бывшего хозяина есть краник, из которого спирт хлещет рекой. Слух был настолько абсурдным, что ему не могли поверить. И все же — сигнал есть сигнал. Тем более, что и дирекция недолюбливала и побаивалась слишком честного секретаря. Проверили. Мать честная — есть!

Во время восстановления завода секретарь парторганизации тихонечко приварил трубку к спиртопроводу на заводе, тихонечко провел коммуникацию аж до тумбы своего письменного стола и с полным правом клеймил позором расхитителей социалистической собственности.

Что там было! Секретаря едва спасли от рук разбушевавшихся работяг, хотевших линчевать своего идейного руководителя. Падла, ведь, цистернами воровал спирт, а нас за пол-литру уродовал!

Эту печальную историю я рассказал по ассоциации. Завкадрами Романова, как я уже упомянул, была неподкупным коммунистом. К тому же — женщина. И даже неоднократно замечая антисемитский подтекст ее направлений на работу, я не смел протестовать, потому что во мне, свернувшись клубочком, постоянно дремало этакое джентльменское отношение к женщине, и с детства воспитанное преклонение перед идейным коммунистом, привозящим в голодающий Петроград эшелон с хлебом и тут же умирающим от алиментарной дистрофии.

Спустя несколько лет я пытался устроить к нам в больницу на работу хорошего врача, моего однокурсника. Главный врач, отличный хирург, человек умный, немного циничный, лишенный, как мне кажется, анти-

семитизма, с недоумением посмотрел на меня: "Ты что, с ума сошел? Ведь Романова посчитает, что мы с тобой вытащили у нее из кармана четыре тысячи рублей!" Тогда-то он рассказал мне, что это такса, установленная Романовой за устройство врача-еврея на работу в Киеве. Когда-нибудь, когда будут описывать подлые поборы с евреев, уезжающих в Израиль, следует воздать должное зав. сектором кадров киевского горздравотдела товарищу Романовой, сумевшей лично обогатиться на несуществующем в Советском Союзе еврейском вопросе.

Боже мой! Если бы это мне было известно тогда, когда я мечтал о любой работе, когда я обивал пороги горздравотдела, когда я чувствовал себя виноватым, возвращаясь домой после дня безуспешных поисков, когда уже осмысленные глаза моего сына, казалось, вопрошали, долго ли еще будет длиться это мучительное унижительное состояние, если бы я знал это в ту пору, неужели я ждал бы семь месяцев, чтобы наконец взорваться, чтобы пригрозить горздраву (нет, не Романовой, она, ведь, женщина), что убью его, если в течение недели не получу работу.

Репутация у меня была соответствующей. Мне не пришлось ждать недели. На следующий день меня направили ортопедом в 3-ю детскую костно-туберкулезную больницу. Это в Пуще-Водице. Добираться полтора часа. Но какое все это имеет значение! Работа! Вожденная работа! Я смогу накормить своего сына!

Полтора года в этой больнице — полтора года поисков места работы, где я смогу прогрессировать как врач. Много событий больших и малых вместились в эти полтора года. Самым значительным, казалось бы, должен был стать XX съезд партии, который, увы, ничего не изменил, потому что изменений не хотели даже те, кому изменения, в конце концов, могли бы пойти на пользу. Брызжа ядовитой слюной, главный врач возмущалась:

— Вы сами, когда шли в бой, не кричали "За Сталина"?!.

— Видите ли, Сталин действительно в ту пору был для меня божеством, но в бою я не произносил его имени. В бою я преимущественно пользовался матом.

— Вам все шуточки да смешочки, еще поплачете, погодите!

— Надеюсь, что после этих разоблачений в стране больше не будет причины для слез.

— А вы всему верите? Вы же, ведь, охотно согласились, что дело врачей — липа.

— Приятно слышать, что наконец-то вы признали дело врачей липой.

— Я этого не говорила. А вот нескольких из реабилитированных я знала лично, например Чубаря. Это была такая сволочь!

И тогда я рассказал ей одну из многочисленных историй о моем знакомом подполковнике. Интеллигент в лучшем смысле этого слова, напиваясь, он вообще терял человеческий облик. Это было в Берлине в первые хмельные дни после победы. Давали грандиозный концерт для высшего начальства. Три первых ряда занимали генералы во главе с двумя маршалами, командовавшими фронтами. В девятом ряду сидел подполковник. Тончайший волосок трезвости удерживал его в человекоподобном состоянии.

На сцене ансамбль красноармейской песни и пляски а ля краснознаменный исполнял популярную в ту пору "Песнь о двух генералах". Два солиста-солдата в разных концах авансцены состязались в восхвалении своих генералов. "А у нас генерал" — пел первый. "А у нас генерал" — возражал второй. "И оба хороши" — разрешал противоречие хор. Песня была бесконечной. Когда в какой-то двадцатый раз поспорили "А у нас генерал, а у нас генерал", из девятого ряда рывкнул подполковник: "И оба они жопы!"

Духовики, задыхаясь от смеха, не могли извлечь ни одного правильного звука. Последнего куплета, как-то пропетого хором, с трудом подавляющим смех, почти не было слышно. Его заглушали раскаты хохота,

содрогавшего зал. Многие генералы посчитали это вы­падом против них лично. Возмущенный маршал по­грозил подполковнику кулаком. Но в общем все обо­шлось. Списали на опьянение победой.

Главврач снова упрекнула меня в неуместном сме­хачестве и невпапад, как мне показалось, добавила:

— Все ваши еврейские штучки.

Уже через несколько месяцев, в ноябре, у главного врача появились основания упрекать меня в еврействе. Во мне произошло какое-то необъяснимое раздвоение. По-прежнему я осознавал себя гражданином своей могущественной сверхдержавы, своей страны, за кото­рую воевал, которой щедро отдавал свою кровь, кото­рую любил сыновней любовью. В то же время я почув­ствовал себя связанным живыми узами с незнакомым государством Израиль. Я видел себя в танке на Синае, хотя даже представить себе не мог, какие танки в израильской армии.

Сквозь сито своего неверия я уже просеивал газет­ную ложь. Я уже знал цену злобному заявлению ТАСС о тройственной агрессии, в которой англичане и фран­цузы оказались подручными коварных, способных на любое преступление израильтян. Но это сообщение бы­ло искренне воспринято, поддержано и усилено верно­подданными гражданами. Главврач перенесла свою патологическую ненависть к евреям на незнакомое ей государство, на его народ. Она отождествляла нас. Возможно, она была права? Из своего маленького красивого Израйля я шлю вам, Варвара Васильевна, свою искреннюю признательность за вашу ненависть, за ваше отождествление, за ваш наглядный урок, пре­подавший, что еврею нельзя жить раздвоенным.

А случилось однажды следующее. Я оперировал шестнадцатилетнего мальчика, страдающего туберкуле­зом коленного сустава. Операция осложнилась не по причине анатомических особенностей или патологичес­кого состояния, а потому, что хирургические инстру­менты, которыми я оперировал, следовало выбросить

несколько десятилетий тому назад. Я убежден — мои израильские коллеги просто не поверили бы, что подобным металлоломом можно сделать резекцию коленного сустава.

После операции я зашел в кабинет главного врача и доложил ей, что, если не будут приобретены хирургические инструменты, следует временно закрыть операционную. Главврач ответила мне потоком обычной демагогии. Дескать, лопатами мы строили ДнепрогЭС и Магнитогорск и без оружия побеждали на фронтах. Я спокойно выслушал ее речь и спросил:

— Согласились бы вы, чтобы я оперировал вашего сына этими инструментами?

Главврач взорвалась:

— Все вы, евреи, одинаковы. Там несчастные египтяне страдают от них на Синайском полуострове, а тут я должна страдать от вас!

Я стоял ошеломленный. При чем здесь египтяне? О каких евреях идет речь? Хлопнув дверью, я покинул кабинет и направился в свой корпус.

Моросил мелкий ноябрьский дождь. Дворник Андрей, молодой украинец, сгребал опавшие листья. Кто-то по величайшему секрету сообщил мне, что Андрей — баптист, тайком посещающий молельный дом. Мы всегда относились друг к другу с симпатией и уважением. Я не могу объяснить побудительных причин и последовательности моих поступков в это мгновение. Внезапно остановившись, без всякого предисловия, я попросил Андрея дать мне прочитать Библию. Испуг искажил его лицо.

— У меня нет Библии.

— Андрей, только что Варвара Васильевна сказала, что все мы, евреи, одинаковы. Я знаю историю древней Греции и древнего Рима, я знаю историю китайцев и ацтеков, не говоря уже о славянах. Но я не имею представления об истории еврейского народа. Пожалуйста, дайте мне прочитать Библию.

— У меня нет. И вообще коммунисты не читают Библию.

- У еврея есть право узнать историю своего народа.
- У меня нет Библии.
- Поймите, ведь это Богоугодное дело.
- У меня нет.

На этом мы расстались.

Как и обычно, после операционного дня я остался дежурить. Поздно вечером я работал над историями болезней. За окном хлестал холодный ливень. В дверь ординаторской постучали. На пороге появился Андрей. На нем не было лица. Вода стекала с его телогрейки. С трудом выдавливая слова, он сказал:

- Ион Лазаревич, не сделайте моих детей сиротами.
- О чем вы говорите, Андрей?
- Вы ведь коммунист.
- Я человек. Я еврей, желающий узнать историю своего народа.

Он извлек из-под полы телогрейки старую потрепанную книгу. Всю ночь я читал Библию. И потом, когда, проникшись доверием ко мне, Андрей уже безбоязненно приносил мне книгу. И мы обсуждали прочитанное.

Книга Бытия сперва показалась мне примитивной. Исход представлялся красивой сказкой, вполне современной сказкой, когда исход из Советского Союза не менее неосуществим, чем тогда — из Египта. Заворожила Песнь Песней — музыка, образы, одухотворенность, эротика. А общее впечатление — так, ниже среднего. Но одна мысль неотступно преследовала меня уже после первого прочтения Библии. Убежденный материалист-марксист, я достоверно знал, что без базы невозможна надстройка. Каким же образом у древних евреев, у примитивных скотоводов, кочевников, едва переставших быть рабами, мог возникнуть высочайший, сегодняшней, нет, завтрашний моральный кодекс? Естественно, что его не могло быть ни у египтян, ни у индусов, ни у китайцев, ни у эллинов, ни у римлян. Не было у них для этого соответствующей материальной базы. А у евреев она была? Что-то не стыковалось. И почему Библия дала такую обильную пищу мирово-

му изобразительному искусству? А больше всего — первая книга, показавшаяся мне примитивной. Много раз я перечитывал Библию, пока получил ответы на эти вопросы.

Но самой убедительной оказалась третья книга — Левит, вернее, ее заключительные страницы. Все описанные там события, которые должны произойти в будущем, действительно произошли. Именно в предсказанной последовательности. Почему бы не произойти еще одному предсказанию — объединению евреев в своем предсказанном и уже существующем государстве? Конечно, в конце ноября 1956 года это могло показаться нелепым. Но я уже начал верить в то, что обещание, данное в конце книги Левит, будет выполнено. Я стал евреем. Забавно только, что началом своего еврейского воспитания я обязан молодому украинцу — дворнику нашей больницы.

Время после XX съезда партии Эренбург назвал оттепелью. Мне больше нравится формулировка не профессионала, а любителя — "эпоха позднего реабилитанса". Конечно, можно назвать потеплением подъем температуры от абсолютного нуля до, скажем, температуры замерзания азота. Но ведь нельзя жить при такой температуре.

Именно во время оттепели Советский Союз обрушил на Израиль лавину злобных нападок, а советские танки раздавили Венгрию. (Мой приятель без комментариев описал сцену, свидетелем которой он был на советско-венгерской границе. Капитан-пограничник, всего лишь капитан, в буквальном смысле слова толкал на венгерскую территорию Яноша Кадора, а тот, сопротивляясь, кричал: "Я не буду предателем своего народа!" — "Будешь, будешь", — добродушно ответил капитан.)

Именно во время оттепели произошли берлинские события, а Хрущев сочинил очередную антисемитскую небылицу о сотрудничестве евреев с фашистскими оккупантами. Правда, более широкими стали контак-



ты с границей. Опубликовали несколько произведений, издание которых прежде было немыслимым. Появились свои "менестрели". Даже тысячетонный пресс, под которым жили евреи, стал на одну тонну легче.

Не благодаря оттепели я стал верить в возможность нового Исхода. Да, это несбыточно. Но ведь совершилось чудо Исхода из Египта. Почему бы не свершиться еще одному чуду?

В конце книги Левит Всевышний предупреждает, какие кары Он обрушит на головы евреев, на этот упрямый народ, постоянно испытывающий терпение Господа своими непрерывными нарушениями союза. Все, сказанное 3500 лет тому назад сбылось. Но дальше Господь говорит, что Он вспомнит свой союз с Яковом, Ицхаком и Авраамом, и вернет уцелевших евреев на обещанную им землю, которая отдохнет до этого, получив все положенные ей субботы. Начало сбываться и это обещание. Возникло государство Израиль. Уцелевшие евреи стали возвращаться в свое государство. Почему бы Всевышнему не вспомнить, что и мы — уцелевшие евреи?

Я стал жить этой, казалось бы, неосуществимой мечтой, не реагируя на добродушное подтрунивание моих друзей по поводу благополучия моего рассудка. Чудо обязано повториться. Почему бы еще ни при моей жизни?

## ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ

Есть вещи, даже самое талантливое описание которых не найдет эквивалента в представлении человека, не имеющего личного опыта, не соприкасающегося с этим предметом. Еще сложнее обстоит дело с понятиями. Я знаю, как трудно объяснить кое-что о Советском Союзе даже людям, побывавшим там, но не составляющим части социалистической системы. Поэтому, прежде чем приступить к изложению материала настоящей главы, в нескольких словах придется рассказать о размере врачебной зарплаты в Советском Союзе, что понять не так уж трудно.

Врач со стажем от 10 до 25 лет, получает 140 рублей в месяц (брутто). Если у него есть степень кандидата медицинских наук (Ph.D. — третья степень на Западе), зарплата увеличивается на 10 рублей. Со степенью доктора медицинских наук (на Западе это профессор) врач получает еще 10 рублей, итого, 160 рублей в месяц. Если же кандидат медицинских наук работает ассистентом в кадровом институте (медицинском или усовершенствования врачей), его начальная зарплата 285 рублей в месяц. Чуть меньше получает старший научный сотрудник в научно-исследовательском институте (имеет значение категория института). Больше получает доцент. Еще больше — старший научный сотрудник со степенью доктора медицинских наук. Это

примитивная схема. Очевиден материальный стимул степени кандидата и доктора медицинских наук, если это не 10 и 20 рублей, а по меньшей мере удвоение зарплаты на соответствующей должности.

Защитив кандидатскую диссертацию, я знал, что в Киеве у меня нет ни малейших шансов получить соответствующую должность. Без амбиций я продолжал работать в своем отделении. Без амбиций в свободное от оплачиваемой работы время занимался наукой, потому что мне было интересно. Правда, одна попытка попасть на высокооплачиваемую должность была предпринята. Но к ней я отнесся с такой же легкостью, с какой за 30 копеек случайно покупаешь лотерейный билет, не надеясь на выигрыш и не жалея потерянных копеек.

Забавно. На ученом совете института, куда я подал документы на должность старшего научного сотрудника, многие поддержали мою кандидатуру, мотивируя это тем, что следует привлечь к работе ортопеда, уже имеющего в Киеве имя. Но резко против меня выступил заведующий отделом, где, собственно говоря, и была вакантная должность. Я его отлично понимаю и не только не осуждаю, но даже одобряю. Судите сами.

Когда-то, на первом году ординатуры, ко мне представили субординатора, студента шестого курса, вполне тупого украинского парня, чудовищно необразованного, но трудолюбивого. Последнее качество понравилось мне больше всего. Я надеялся, что с его помощью удастся уменьшить необразованность. А тупость?.. Так он не будет Эйнштейном. Но доминантой оказалось тупое упрямство и жестокость (именно это послужило причиной того, что спустя много лет он схлопотал необычный подарок благодарного пациента — удар ножом в живот, едва не стоивший ему жизни). Не знаю, по какой причине на кафедре с ним возились. Каким-то образом он защитил весьма сомнительную кандидатскую диссертацию, а потом превратил ее в еще более сомнительную докторскую.

Однажды на ортопедическом обществе он демонст-

рировал больного с повреждением локтевого сустава. По привычке, тут же посмотрев больного, я обнаружил, что угол разгибания даже приблизительно не соответствует тому, что значится в докладе. Я задал вопрос, как измерялся угол. Аудитория (тоже не на сто процентов состоящая из гениев) отреагировала хохотом на ответ, свидетельствующий о том, что доктор медицинских наук не имеет понятия об исследовании сустава, о котором он написал две диссертации. Все посчитали, что я ловко подсел докладчика. Но, видит Бог, мне и в голову не могло прийти, что доктор медицинских наук не знает примитивных вещей, которые обязан знать даже плохой студент.

В свете рассказанного, то, что я не прошел на должность старшего научного сотрудника, казалось мне закономерным и даже непосредственно не очень связанным с антисемитизмом. (Недавно я получил из Москвы очередной номер журнала "Ортопедия" со статьей того самого заведующего отделом. Он несомненно вырос. Но и сейчас на вполне средней статье видны жирные отпечатки неликвидированной безграмотности, неустраняемые "химчисткой" редакции.)

Итак, я продолжал работать в больнице. Работа доставляла мне удовольствие. В ту пору коллектив отделения все еще оставался замечательным. Главный врач больницы безусловно отличался от всех известных мне во все времена главных врачей. Замечательный хирург, вдумчивый диагност, добрый внимательный врач, он в своих подчиненных больше всего ценил профессиональные и человеческие качества. Как я уже упомянул, его, русского человека, не волновала национальность подчиненных (его лично; но полностью игнорировать пятую графу в паспорте он не мог из-за наличия вышестоящего начальства). И потом, до самого моего отъезда в Израиль, когда он уже давно не был главным врачом (сняли, в Киеве не нужны белые вороны), мы оставались добрыми друзьями, постоянно помогая друг другу во врачевании.

Говоря о зарплате, я не упомянул еще одной надбавки — за категорию. У меня была высшая категория, что увеличивало зарплату еще на 30 рублей. Значительно улучшились мои квартирные условия. Благодарные пациенты "организовали" мне квартиру в самом роскошном районе Киева, рядом с Верховным Советом. Пешком до работы было всего несколько минут. Постоянные знаки внимания моих больных — цветы, торты, коньяк, конфеты, вина, книги, пластинки и прочее — стали повседневным явлением. Кроме того, в стране, где невозможно купить самые необходимые вещи, мне могли "достать" все. В общем, когда произошло это событие, я был более чем благополучным советским человеком.

Телефон у меня был установлен только через несколько дней. Поэтому мне не следовало удивляться внезапному приходу абсолютно нежданного гостя, не сумевшего предупредить меня о приходе. Сын рассказал, что пришел второй профессор кафедры ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии Киевского института усовершенствования врачей, что он меня разыскивает, что я ему срочно нужен. Зачем я могу понадобиться этому человеку? Какие точки соприкосновения могут быть у нас?

Когда-то в пору моей ординатуры мы почти год работали с ним в первой клинике ортопедического института. Пришел он туда за несколько лет до меня после окончания Киевского медицинского института, где он занимал пост председателя профсоюзного комитета, что, безусловно, являлось абсолютным критерием его права и возможностей заниматься научной деятельностью. Будучи в ординатуре, основное время он также уделял общественной работе. Мне часто приходилось выполнять его врачебные функции. Возможно, этим определялось его хорошее отношение ко мне, хотя он и не пытался скрыть своего врожденного антисемитизма.

В ту пору мне казалось несколько странным, что

антисемит женат на еврейке. Говорили, что жена проволочила его через институт, а сейчас делает ему диссертацию. Вскоре он ушел на должность секретаря партийной организации министерства здравоохранения. Уже в этом качестве он защитил кандидатскую диссертацию "Травматизм на заводе "Большевик". Молодому врачу, мне было странно и непонятно, что такая диссертация, даже будь она вполне доброкачественной, может дать ученую степень не организатору здравоохранения, а врачу-лечебнику. Голубой идеалист! Я еще смотрел на науку, как на что-то святое, где абсолютно исключены махинации, протекционизм, фальсификации и прочее, что, как потом я имел возможность убедиться, не исключение, а основа советской медицинской науки

Я работал с человеком, медицинские знания которого были на уровне приличного санитаря, но он был профессором благодаря диссертации "Хирургическое обеспечение партизанского отряда". А разве это хуже, чем, скажем, такие диссертации, как "Горные прогулки в комплексе лечения детей, отдыхающих в пионерском лагере "Артек", или "Пылевой фактор при ремонте сталеплавильных печей", или "Средние медицинские кадры сельской местности УССР", или... Сколько подобных медицинских диссертаций я мог бы перечислить! Но вернемся к моему повествованию.

Состоялся XIX съезд партии. Началось дело врачей. Еврей в ортодоксальной советской семье становился нежелательным элементом. Вы усматриваете в этом какую-то аналогию? Простите, я не виноват. Я не жил в гитлеровской Германии и понятия не имею, как именно решался этот вопрос в немецких семьях, засоренных евреями. Знаю, как это делалось в СССР. Например, украинские литераторы попросту разводились со своими женами, даже с теми, которые сделали их литераторами. Сталин, как вы уже знаете, сослал своего зятя в Кустанайскую область. Молотов свою жену, бывшую союзным министром, посадил в тюрьму. Может ли кто-нибудь после этого обвинить секретаря

партийной организации министерства здравоохранения Украины в том, что ему мешала его еврейская жена, тем более, что свои функции она уже выполнила, а на горизонте, как вы сейчас увидите, появилось нечто весьма перспективное?

Поэтому в половине второго морозной зимней ночи жена упала (заключение судебно-медицинской экспертизы, зависимой, естественно, от министерства и секретаря министерской парторганизации) с балкона шестого этажа на улице Горького, 19. Предвижу вопрос: что в половине второй ночи в лютый мороз делают на балконе в ночной сорочке? Я не был членом судебно-медицинской экспертизы и не могу ответить на этот вопрос.

Спустя некоторое время секретарь уехал в Сталино на должность директора института ортопедии и травматологии. Устроилась и семейная жизнь несчастного вдовца. Он женился на дочери министра внутренних дел Украины. Уже где-то в начале семидесятых годов она рассталась со своим мужем. Наши общие знакомые постоянно удивлялись тому, что это произошло так поздно. Меня лично восхищало бескровное окончание этого брака, обусловленное либо тем, что они жили на втором этаже, либо очень громкой девичьей фамилией жены. А пока директор института привез в Киев докторскую диссертацию. Не знаю, чем эта диссертация была хуже других, но она едва не провалилась на защите в медицинском институте, а потом срочно пришлось принимать чрезвычайные меры для ее утверждения Высшей Аттестационной Комиссией. И вот он уже второй профессор кафедры ортопедии Киевского института усовершенствования врачей. Мы не общались, хотя жили почти рядом. Изредка встречались на ортопедическом обществе. Еще реже перекидывались одним-двумя ничего не значащими словами. И вдруг — неожиданный визит.

Из телефона-автомата я тут же позвонил своему приятелю, доценту на этой кафедре, талантливому врачу-украинцу. Через несколько лет его съедят, убе-

рут самого достойного ортопеда, самого опасного конкурента. А сейчас от него я узнал, зачем так спешно понадобился второму профессору. Оказывается, у него появилась вакантная должность доцента. Документы на конкурс подали восемь человек. Сегодня утром состоялось заседание кафедры. Обсуждали кандидатуры. Ко всеобщему удивлению, второй профессор отверг всех кандидатов и вдруг пожелал заполучить к себе доцентом меня и только меня.

Заведующий кафедрой, тот самый член-корреспондент, который спустя несколько лет по телефону будет выяснять, знаю ли я, кто по национальности генерал Доватор, не скрывая удивления, сказал:

— Но ведь это невозможно!

— Вы что, против? — спросил второй профессор.

— Наоборот. Всем известно, что мы друзья, что я лечусь у него. Но ведь его не пропустят. Назовем вещи своими именами: он еврей.

— Это я организую. Главное, чтобы он подал документы на конкурс.

Мой приятель настойчиво убеждал меня не быть чистоплюем, не упускать шанса, кто знает, не единственного ли в моей жизни. Оказывается, он уже звонил в больницу, чтобы предупредить меня.

По золотому ковру кленовых листьев я медленно пересекал Маринский парк, размышляя о только что услышанном. Работать доцентом у этой личности? Ради доцентской зарплаты окунуться в нечистоты? Оставить отделение, в котором я имею удовольствие работать с такими отличными коллегами? Во имя чего? Доцентская зарплата? Но ведь я и сейчас не умираю от голода. А легализованная возможность заниматься научной работой? Вспомнить только, как я делал кандидатскую диссертацию!

Мне милостиво разрешили оперировать своих животных, если я обесголошу всех собак в виварии. Дело в том, что институт находился в центре города. Жители смежных кварталов не без основания жаловались на



бесперывный лай и вой собак. В горсовете уже шла речь о закрытии вивария. Тогда в институте решили обесголосить собак. Операция заключалась в перерезке нижнегортанных нервов. Область не совсем ортопедическая. Но не в этом дело. Ортопед — он и общий хирург. Дело во времени. Его у меня и без того никогда не хватало. Свои экспериментальные операции я мог делать только в свободные от работы часы. А тут более 60 собак. Деваться некуда — прооперировал. Но этим дело не ограничилось. Меня попросили отредактировать статью одного из научных сотрудников института. Отредактировать! Статью пришлось написать заново. За ней последовали другие. Так я оплачивал право заниматься научной работой. Жили мы тогда в коммунальной квартире. Только после 12 часов ночи появлялась возможность в кухне поставить микроскоп и несколько часов поработать, описывая препараты. И это иногда после 30—35 часов непрерывной работы в отделении.

А как передать моральное состояние пришлого со стороны в экспериментальный отдел? Как описать состояние человека, которого бары допускают на кухню с черного хода слегка утолить голод обедками с барского стола? Да еще человека, осознающего, что в интеллектуальном отношении он не уступает барам?

Как-то профессор, о котором еще пойдет речь, упрекнул меня: "Если бы не твой строптивый характер, ты уже давно был бы профессором". Тогда я спросил его, как насчет характера его непосредственного подчиненного, еврея. Отличный ортопед, высокообразованный врач, он выполнял черную работу в организационно-методическом отделе. Без него отдел перестал бы функционировать. Только поэтому его держали в институте. Но даже поистине ангельский характер всегда покорного еврея не позволил ему подняться до уровня своих несравнимо менее способных коллег неевреев. Числящийся армянином полуеврей профессор, вероятно, не антисемит, если учесть его

ближайшее окружение (мать еврейка, жена еврейка, зять еврей), но покорно выполняющий антисемитские функции, молчал, не в силах опровергнуть очевидное.

Задумавшись, я не заметил члена-корреспондента, картинно раскинутыми руками преградившего мне путь на аллее вблизи министерства здравоохранения.

— Ну вот, на ловца и зверь бежит. А я уже собирался к вам. Несколько часов не мог вас разыскать. Пойдете ко мне доцентом?

— К вам?

— Ну да, ко мне. На кафедру.

— К вам?

— Ко мне на кафедру.

— К вам лично — с радостью.

Смущение промелькнуло за большими модными роговыми очками. Я-то отлично понимал причину смущения. Шестидесятилетний красавец, всемогущий, привыкший ко всеобщему обожанию, он должен был сейчас признаться в ограниченности своих возможностей.

— Видите ли, Ион Лазаревич, появилась возможность взять вас доцентом на кафедру. Пока — в клинику второго профессора.

— Надеюсь, вы понимаете, что я к нему не пойду.

— Понимаю. На вашем месте я, вероятно, ответил бы так же. Но вы пробудете у него максимум полгода. Я вас заберу к себе. Клятвенно обещаю.

— Нет, Федор Родионович, это невозможно. Нельзя продавать свою бессмертную душу за чечевичную похлебку.

— Не торопитесь. Подумайте. Когда еще появится такая возможность. Вы ведь знаете, как я вас люблю и как хочу вашего благополучия?

— Знаю. Спасибо большое.

— А еще я забочусь о себе. Понять не могу, зачем вы понадобились этой сволочи. Возможно, он надеется с вашей помощью подкопаться под меня. Понимаете, как важно мне иметь вас на кафедре?

— Это мне не приходило в голову. А где гарантия, что я попаду на кафедру, если даже подам документы?

— Ох уж мне эта еврейская гордость!

— Не трогайте моего еврейства. Оно же ведь вам, гнилому русскому либералу, мешает продемонстрировать свое всеислие.

— Ладно, ладно, не заводитесь. Пройдете. На сей раз не мое всеислие, а его попойки с директором института и старые связи с дружками в министерстве. Соглашайтесь.

— Посмотрим. — На этом мы расстались.

Вечером ко мне снова нагрянул второй профессор в сопровождении моего главного врача. Я даже не предполагал, что они знакомы. Оба они были здорово на подпитии. Профессор изложил суть дела. Пренебрегая правилами гостеприимства, я спросил его в упор:

— Объясни, зачем такому антисемиту, как ты, вдруг понадобился еврей?

Профессор стал уверять, что всю жизнь только и заботился о благе евреев. Я прервал его и снова повторил вопрос.

— Ладно. На чистоту. Мне пора становиться членкорром. Мне нужны солидные научные работы. Скажем, четыре статьи в год. И еще одно. Все эти старперы распространяют слухи, что я недостаточно хороший врач. Так мне создали рекламу в Киеве. А Киев — это город специфический.

Мы с главврачом переглянулись. Великое дело, когда люди понимают друг друга без слов.

— Поэтому мне нужно, чтобы моя клиника стала такой же популярной, как ваше отделение. И такой же оснащенной. Хрен вас знает, как вам удастся доставать эти инструменты.

Мы снова переглянулись с главврачом и рассмеялись. О медицинских инструментах в Советском Союзе можно было бы написать грустно-веселую книгу. Что касается нашей оснащенности, объяснялась она довольно просто. Регулярно читая американско-английский

ортопедический журнал, я в каждом номере внимательно рассматривал красочную рекламу фирм, изготовляющих медицинские инструменты. Само собой разумеется, что у больницы не было ни возможности, ни прав, ни валюты, чтобы купить эти инструменты. Поэтому я показывал картинки своим пациентам, работающим начальниками на заводе "Арсенал", реже — на других крупных заводах. Иногда по рисунку не удавалось изготовить нужный инструмент. Тогда я играл на чувствительных струнках самолюбия заводского начальства. Конструкторы получали задание спроектировать, а лучшие инструментальщики примитивным путем делали инструменты не только не уступающие, но и превосходящие оригиналы (как сейчас я смог убедиться в этом). Интересно было бы подсчитать, в какую сумму влетал заводу такой уникальный инструмент. Конечно, я не платил за него ни копейки.

Вероятнее всего, в ту минуту я не думал о рассказанном сейчас. Но с точностью до одного слова помню, о чем мы тогда говорили.

— Хорошо, допустим, я соглашусь. Но ведь в клинике возникнет невозможная обстановка. Скажем, на обходе ты делаешь нелепое назначение. Прости меня, но Киев — большая деревня. Кое-какие перлы из твоих назначений дошли до нас.

Главврач выхватил платок и симулировал кашель.

— Так вот. Представь себе самую обычную ситуацию. Обход. Ты делаешь одно из своих нелепых назначений. Я вынужден его отменить, потому что врач не может допустить чего-нибудь во вред больному. Возникает двойной конфликт — между профессором и доцентом (но во имя будущего мы всегда согласны помириться) и, что значительно хуже, между больным и доцентом. Обыватель считает, что научные степени, звания и должности раздаются соответственно знаниям. Следовательно, по его представлениям, профессор всегда более сведущ, чем доцент. Следовательно, профессор во благо ему сделал назначение, а подлый

доцент не выполнил его.

(Спустя несколько лет жизнь продемонстрировала справедливость моего прогноза в случае далеко не банальном. Терапевт, с которой мы вместе работали, которая всегда ценила во мне специалиста, сломала шейку бедра и попала в клинику этого профессора. Он назначил операцию, потому что переломы шейки бедра лечатся оперативным путем. Но это был абдукционный перелом, то есть такой, который ни в коем случае не следует оперировать. Профессор не знал азбучной истины, хотя любому начинающему ортопеду это должно быть известно. Навестив коллегу, я объяснил ей ситуацию, а врачей клиники попросил удержать профессора от ненужного оперативного вмешательства. Они робко пообещали, боясь конфликта с шефом. А коллега, при всей ее вере в мои знания, все-таки поверила профессору. Он-то ведь профессор, а я в ту пору был всего лишь кандидатом медицинских наук. После первой операции у нее омертвела головка бедренной кости. Понадобилась вторая операция, во время которой чудом удалось спасти жизнь коллеги. Более месяца пролежала она в реанимационном отделении. Сейчас она тяжелый инвалид, передвигающийся при помощи костылей. Последуй она моему совету, через три месяца после перелома могла бы быть здоровым человеком.)

Профессор спокойно выслушал меня и сказал:

— Вот, Ион, моя рука при свидетеле, что без тебя я не сделаю ни одного назначения. Если хочешь, я могу повторить это перед всеми врачами клиники.

Я утвердительно кивнул и сказал:

— Еще одно условие. Из четырех работ две должны быть подписаны совместно.

Тут главврач расхохотался так, что слезы выступили у него на глазах. Только сейчас я понял, какую глупость сморозил. Профессор не только немедленно согласился, но даже проявил великодушие, заявив, что не две работы, а три из четырех мы подпишем совместно.

Он явно не ожидал такой глупости с моей стороны. А я так долго привык безмянно работать на других, что даже мысли не мог допустить о совместной подписи под всеми работами, сделанными только мной лично.

— А теперь, пожалуй, главный вопрос. Допустим, я соглашаюсь на твои предложения. Где гарантия, что я пройду по так называемому конкурсу?

— Это не твое дело. Документы ты подаешь не официально, а мне лично. Так называемого конкурса, как ты говоришь, не будет. В ту минуту можешь себя считать доцентом кафедры, когда ты дашь мне документы.

— Хорошо. Я подумаю. Завтра получишь ответ.

Когда он ушел меня начал обрабатывать главврач.

— Пойми, Ион, такой возможности может больше и не быть. Ну, что твои знания и умение? Вот если бы ты не был евреем! Впрочем, возможно, тогда не было бы этих знаний и умения. Соглашайся. Он, конечно, сволочь и подонок. И жизнь у тебя будет не сладкой. Но, кто знает, повторится ли еще такая возможность.

— У меня впечатление, что вы хотите избавиться от меня.

— Вот-вот, скажи еще, что я тоже антисемит. Да я от себя живой кусок отрываю. Я не уверен, что смогу так сработаться с другим ортопедом. Но сейчас я думаю только о тебе. Ты ведь знаешь, в горздравотделе я как бельмо на глазу. Кто знает, сколько еще меня поддержат главврачом и кто будет вместо меня. Может быть, твой профессор покажется тебе повидлом в сравнении с новым начальством.

Главный врач оказался провидцем. Через несколько лет его, русского самородка, сняли с работы. Новый главврач как человек оказался все-таки выше моего предполагаемого шефа. Врачом там даже не пахло. Жестко запрограммированный робот, он действовал строго соответственно параграфу инструкции, любое дело доводя до абсурда. Больница разваливалась. Ликвидировали лучшее в Киеве хирургическое отделение. К моменту моего отъезда в Израиль, через 12 лет после

описываемых событий, это была заурядная сельская больница, хотя и находилась в столице, в двухстах метрах от министерства здравоохранения.

Через несколько дней, испытывая отвращение к самому себе, я отнес документы.

Ранней осенью 1942 года мы прикрывали отступление со станции Муртазово, Северо-Кавказской железной дороги. В живых нас осталось четыре человека. Немецкие танки оказались за нашей спиной на южном переезде в тот момент, когда мы пересекали перрон. Ближайшим укрытием оказалась станционная уборная. Вы представляете себе станционную уборную во время войны? Вдруг на вокзал, на колени, на переезд обрушились залпы "катюш". Реакция была обычной на обстрел: от неожиданности мы повалились, залегли, не замечая нечистот. Дождавшись темноты, голые, мы брели к своим километров восемь. Брели по Тереку, по воде. Но и вода не спасала. Очень долго потом меня преследовал этот запах и чувство гадливости. Такое же чувство я испытывал сейчас, отдав документы второму профессору.

Но у всякой медали есть обратная сторона. Через несколько дней я узнал, что все восемь человек, подавших на конкурс (а среди них не было ни одного еврея), забрали документы. Все они заявили, что не хотят конкурировать со мной, считая это аморальным. А в одном случае проявилось величайшее благородство. Директор института, дружок второго профессора еще по министерству (он был там начальником управления медицинских учебных заведений), а сейчас его постоянный собутыльник, дав себя уговорить, что именно я должен стать доцентом, все-таки вызвал одного из восьми, бывшего аспиранта этого института, и велел ему вернуть документы. Украинский парень, которому я помог сделать диссертацию, объяснил директору, что не может конкурировать со мной ни по одному показателю. Директор уговаривал его, внушал, что он — национальный кадр, что если он откажется, —

директор накажет его, перекроет ему в Киеве все пути. "Ну что же, на Киеве свет клином не сошелся. Но подлоем я не буду". Действительно, из Киева ему пришлось уехать. Интересно, что даже спустя десять лет, при встрече со мной он так и не обмолвился о прошлом. А узнал я об этом событии в тот же день от человека, случайно услышавшего баталию в директорском кабинете.

Но один конкурент у меня все же оказался. Документы подал мой бывший сосед по комнате в общежитии ординаторов. На что он надеялся? Без научной степени. Без единой публикации. Без подобного моему списку оперативных вмешательств. Только лишь украинская фамилия. Как ни странно, в конкретном случае этого оказалось мало. Конкурсная комиссия забаллотировала его.

Оставалась последняя формальность — ученый совет. Оставались выборы по-советски, по поводу которых циркулировал меткий анекдот. Вызвал Бог Адама и сказал ему: "Вот Ева. Выбирай себе любую жену". Поздравления сыпались на меня со всех сторон. Я не принимал их, ссылаясь на суеверие. Мол, поздравите, когда получу диплом доцента.

За несколько дней до ученого совета состоялось очередное заседание ортопедического общества. Председательствовал член-корреспондент, заведующий кафедрой. Докладчиком был второй профессор. В течение получаса он нес явную ахинею. Даже ко всему привычная аудитория киевского ортопедического общества реагировала то ироническим смешком, то даже приглушенной, слышимой только соседом репликой. Председатель не сводил с меня глаз. В его больших роговых очках плясали веселые чертики. Я бесстрастно выдерживал взгляд. Мы играли в гляделки. Потом, по пути домой, член-корр. удивлялся моей выдержке:

— Я и не знал, что вы прирожденный игрок в покер. Да, нелегко вам придется на должности доцента.

Тут долго сдерживаемое напряжение прорвало



плотину. Я высказал ему все, что думаю по поводу русских либералов, по поводу его личных уговоров и его запоздалого сожаления. Впервые я был так резок с человеком, который относился ко мне более чем хорошо. Еще я сказал ему, что, как и прочие русские либералы, он сам породил зло, что у него была возможность отказаться от второго профессора, который, — вспомните мои слова! — съест его с потрохами. И еще я сказал ему, что, если пройду по конкурсу, он молиться на меня должен будет, молиться на фактор, сдерживающий его уничтожение.

— Сдаюсь. Вы правы по всем статьям. Особенно в вопросе о сдерживающем факторе. Именно поэтому мне следовало бы оставлять вас доцентом у этого подлеца как можно дольше. Но, чтобы доказать вам порядочность русского либерала, при первой же возможности, но не позже, чем через полгода, я заберу вас доцентом к себе в клинику.

Примиренный, я согласился зайти к нему. Мы медленно пили коньяк и говорили о том, что чаще всего было темой наших отвлеченных бесед — о Библии. Уже в дверях, прощаясь со мной, он вдруг сказал:

— Да, кстати, в воскресенье я уезжаю в Москву. Так что не буду на ученом совете. Но это даже к лучшему: мне не надо будет скрывать своей заинтересованности в новом доценте.

— Вот как! Вы не будете на ученом совете? Боюсь, что и нового доцента не будет. И мне, кажется, не следует напоминать, что новый доцент вам лично нужен больше, чем мне.

Я захлопнул дверь и тут же вошел в лифт. Это было в пятницу.

Во вторник состоялся ученый совет. Я не присутствовал на нем. Но так много людей рассказывали об этом заседании (и среди них отец самого близкого моего друга, относившийся ко мне, как к сыну), и так даже в деталях совпадало все, о чем они рассказали, что я смею писать об этом, как о достоверном, хотя,

повторяю, сам лично не присутствовал.

Есть мудрый грузинский тост. Попросил однажды Скорпион Лягушку:

— Послушай, Лягушка, перевези меня на другой берег.

— Дурак ты, Скорпион, как же я тебя перевезу? Ведь ты меня ужалишь.

— Дурак, Лягушка, как же я тебя ужалю? Мы ведь тогда оба утонем.

— Правильно, Скорпион, ну, садись.

Сел. Плывут они, плывут. Один метр остался до берега. Не выдержал Скорпион. Ужалил. И оба они пошли ко дну. Так давайте же выпьем за выдержку.

Директор Киевского института усовершенствования врачей Михаил Нестерович Умовист пил много, очень много. Не знаю, провозглашал ли он при этом тосты, кроме "будьмо!", а если провозглашал, знал ли он тост о выдержке. Он зачитал мои данные и решение конкурсной комиссии, рекомендующей меня в качестве доцента кафедры ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии. Вдруг он остановился. Долго тер переносицу и сказал:

— Да, товарищи, я забыл предупредить, что финансовые органы ликвидировали ставку доцента. Так что вакантной должности сейчас фактически нет.

Не выдержал Скорпион.

Смутились даже отъявленные антисемиты. Бывший директор этого института, сейчас заведующий кафедрой хирургии, которому ровно четырнадцать лет тому назад я расквасил физиономию и который, безусловно, голосовал бы против меня, даже он вполголоса, но услышанный всеми, сказал:

— Грубая работа.

Тут вскочил второй профессор и, возмущенный, налетел на своего друга:

— Как же ликвидировали, если я сам сегодня в бухгалтерии видел штатное расписание!

Директор оборонялся. Он объяснял, что должность,

мол, есть, но не доцента, а ассистента, что заведующий кафедрой, член-корреспондент, мол, знал об этом, что будь он сейчас на ученом совете, он подтвердил бы справедливость слов директора. Второй профессор потребовал в таком случае провести меня на должность ассистента. Директор заявил, что это незаконно, так как в моем заявлении указана должность доцента, а не ассистента и что, если я на это соглашусь, то после новой конкурсной комиссии ученый совет вернется к этому вопросу.

В четверг утром на работу мне позвонил вернувшийся из Москвы член-корр. Попросил прийти к нему в удобное для меня время. Я ответил, что в ближайший месяц удобного времени у меня не будет.

— Вы меня не поняли, Ион Лазаревич, я приглашаю вас как врача. В Москве меня скрутило. Мне нужна ваша помощь.

Я догадывался, что это трюк. И все-таки вечером пришел к нему. Как я и предполагал, он был в добром здравии. По тому, как тщательно он выбирает булавку к галстуку, я понял, что у него сегодня свидание с новой дамой. Он высказал возмущение по поводу подлого поведения директора на ученом совете, рвал и метал, а в заключение пригрозил:

— Я этого так не оставлю!

С интересом разглядывая засверкавшую в галстук бриллиантовую булавку, я ответил, не скрывая иронии:

— Оставьте, Федор Родионович, оставите. И правильно сделаете. Бог вытащил меня из этого дерьма, и больше у меня нет желания в него окунаться.

— Нет, я так не оставлю.

— Оставьте. Хотите, я даже объясню вам, почему оставите?

Член-корр. вопросительно посмотрел на меня.

— Вы, конечно, понимаете, что Умовист не решился бы на этот спектакль, не будь он уверен, что сможет сослаться на высшие инстанции, где, независимо от

того, знали они заранее или не знали, его поддержат. А вы не станете ссориться с высшими инстанциями, особенно сейчас, когда вас представили к Ленинской премии. Но премии вам все равно не дадут, даже если вы ежесекундно будете уверять их в своей лояльности.

— Ерунда. А почему мне не дадут Ленинской премии? — Он спросил с деланным равнодушием, сквозь которое явно прорывалась тревога.

— А вот когда не получите, обратитесь ко мне. Я вам объясню. Ждать осталось недолго. Четыре месяца.

Я не лицемерил, говоря, что Бог вытащил меня из дерьма. Действительно, это радовало меня и непосредственно после ученого совета, и позже, и особенно, когда я взорвался на заседании ортопедического общества. Сейчас я расскажу об этом. Кроме всего, я был рад тому, что слух об ученом совете быстро распространился по Киеву. Евреи возмущались очередным антисемитским поступком. Знакомые русские говорили, что такое возможно только на черносотенной Украине. Знакомые украинцы уверяли, что это проделки ЦК, старающегося посеять ненависть между евреями и украинцами на благо российским колонизаторам.

А заседание ортопедического общества, о котором я упомянул, состоялось уже после Шестидневной войны, не помню точно в каком году, хотя, если бы это имело принципиальное значение, дату можно было бы восстановить.

И на сей раз председательствовал член-корр. Обсуждалась дискуссионная статья крупного московского ортопеда, отличного хирурга, настоящего ученого, человека красивой доброй души. Многие из выступающих, возможно, даже не очень жалующих евреев, в знак уважения к нему называли его не по фамилии, а по имени и отчеству — Аркадий Владимирович. Но вот, пошатываясь, на кафедру взобрался второй профессор. Заплетающимся языком он начал:

— Не знаю, о каком таком Аркадии Владимировиче здесь все говорят. Я лично знаю Арона Вольфовича.

Председатель брезгливо поморщился, снял очки и стал их старательно протирать. Второй профессор понес несусветную чушь и закончил:

— И вообще, почему мы должны обсуждать классификацию Агона Вольфовича? Что у нас других классификаций нет?

Он так и прокартавил "Агона Вольфовича". Пошатываясь и осклабясь в самодовольной улыбке, он пошел на место. Небольшая пауза. Председатель надел очки, поднялся и сказал: "Так. Кто еще желает?" Кроме меня, желающих не было.

— Уважаемый председатель, уважаемые коллеги. Я не собирался выступить, да и сейчас не собираюсь обсуждать классификацию открытых переломов. Но предшествующее гнусное выступление не позволяет мне молчать.

— Ну, Ион Лазаревич...

— Тем более, что уже единственный, довольно мягкий эпитет вынуждает председателя укоризненно журить меня, хотя в течение всего мерзкого, дурно пахнущего выступления своего заместителя он не счел нужным как-либо прореагировать. А еще я обязан выступить потому, что никто в этой аудитории не посчитал должным дать отповедь хулигану и антисемиту. Да, действительно, Арон Вольфович. Я мог бы сказать, что имя выступившего мерзавца — Николай, по-украински звучит Мыкола. Но объяснение еще проще. Живя среди подобной мрази, светлый человек, большой врач и ученый вынужден гордое имя первосвященника — Аарон — заменить безликим Аркадий, чтобы не пробуждать низменные страсти у пьяного хулигана.

Второй профессор вскочил. Соседи удерживали его или симулировали, что удерживают.

— Поскольку пьяный хулиган уже поднялся, ему остается только выйти вон. В противном случае я обещаю ему прибегнуть к таким отрезвляющим аргументам...

— Ион Лазаревич, вы же интеллигентный человек,

ну, Ион Лазаревич!

— Уважаемый председатель, вместо укоров, я должен был бы услышать слова благодарности за то, что взвалил на себя ваши функции. Надеюсь, вы велите вашему ближайшему сотруднику покинуть аудиторию?

Не знаю, протрезвел ли второй профессор, но он тут же вышел.

А после заседания общества — член-корр.:

— Зачем вам надо было связываться с этим сукиным сыном?

Старший научный сотрудник-украинец (помните, мы испугались друг друга, поняв, что дело врачей — липа):

— Типичный израильский агрессор. И на этот раз тебя справедливо обвинят в неспровоцированном нападении. Нет в тебе христианской покорности. Нет, чтобы подставить вторую щеку.

Врач-еврей:

— Когда уже вы поймете, что мы живем на пороховой бочке? Какого черта вы лезете к ней с огнем? Знаете, как этот хозер на нас отыграется? Вам-то ничего. Но о нас хоть подумайте.

С украинцем мы посмеялись. Но русскому и, в особенности, еврею, я высказал все, что о них думаю.

Через две недели после того злополучного (или счастливого?) ученого совета вакансия была заполнена без конкурса. На должность ассистента приняли врача даже без научной степени. Вскоре мы с ним познакомились. Смущаясь, он подал мне руку и представился:

— Украинец.

— Еврей, — ответил я.

— Нет, вы меня не поняли. Украинец — это моя фамилия.

Присутствовавшие при этой сцене рассмеялись. Больше ничего не могу рассказать об этом человеке. Вероятно, он не хуже других.

Вечером 22 апреля 1966 года мне позвонил член-корр.:

— Ион Лазаревич, не могли бы вы заскочить ко мне?

— Дорогой, Федор Родионович, а я вам так, по телефону могу объяснить, что произошло.

— Перестаньте. Это не телефонный разговор.

Чего он испугался подслушивания в этом конкретном случае?

Никогда еще мне не приходилось видеть его таким подавленным и растерянным. Умный человек с хорошим чувством юмора, сейчас он не понимал, как комично выглядит его уязвленное самолюбие, вернее, неудовлетворенное честолюбие.

— Итак, по телефону вы не решились спросить, почему вы не получили Ленинскую премию?

— Угадали.

— Нет, Федор Родионович, не угадал, а вычислил. Еще утром, просмотрев газету, я знал, что вы мне позвоните.

— Вы тогда, помните? — сказали, что я не получу. Вам действительно было что-нибудь известно, или просто так сболтнули?

— Было известно.

— Но что вам могло быть известно? Ведь мы же были группой, которой не могли быть страшны никакие подводные рифы.

— Вот-вот. Ваша самоуверенность, ваша и ваших компаньонов, явилась причиной слепоты. Вы проглядели не подводные рифы, а огромную гору, торчащую над водой.

— Не понимаю.

— В вашей группе был К.

— Ну и что? Уважаемый профессор. Заведующий кафедрой.

— Правильно. Вами уважаемый, а не Василием Дмитриевичем. Он и на вершине славы не потерял представления о совести, чести, благодарности. На ваше несчастье, в этом году он был в комиссии по Ленинским премиям. А, возможно, там были и другие, подобные ему.

— Ничего не понимаю.

— А чего же здесь понимать. Уважаемый вами К. уничтожил своего учителя, своего добродетеля, человека, который вылепил его из дерьма. В отличие от уважаемого вами, учитель был действительно уважаемым. Порядочные старики таких вещей не прощают. Если бы в вашей компании не было бы К., сегодня я пришел бы поздравить вас с премией.

— И вы это знали еще тогда?

— Естественно. Я же вам сказал.

— Почему же вы мне не объяснили?

— А вы меня не спрашивали. Вы были уверены в себе. В тот вечер вы думали не о том, о чем мы говорили, а о булавке к галстуку и предстоящей встрече с дамой.

— Сволочь вы, Ион!

— Правильно. А вы — сошедший на землю шестикрылый серафим.

— Вы были обязаны предупредить меня.

— Вероятно, еще больше в тот момент я был обязан продемонстрировать вам, что при всем вашем уме и силе вам не обойтись без еврея.

— Ладно. Давайте выпьем. Да, кстати, о еврее. Пойдете доцентом ко мне лично?

— Нет, не пойду.

— Что так?

— С этим покончено.

— Но ведь у вас степень кандидата!

— Ну и что? Вероятно, будет и докторская. Но с меня хватит одного щелчка по носу. Если бы вы тогда не уехали в Москву и присутствовали бы на том ученом совете, я сейчас сидел бы в дерьме по самые уши. Теперь в вас клокочет месть и вы костями ляжете, но пробьете еврея. А еврей не хочет ни ваших милостей, ни ваших капризов. Еврей сам, до поры до времени, будет раздавать милости — лечить юдофобов, учить антисемитов, вытаскивать с того света фашистов. Только до поры до времени. Пока сам не станет хозяином своей судьбы.



— Ох, и доиграетесь вы. До меня уже дошли слухи о ваших разговорчиках об Израиле. Неужели вы думаете, что они не станут известны, если уже не стали, вашим соседям? (Метрах в 150-ти от моего дома находилось областное управление КГБ.)

— Во-первых, это поклеп. Ни у вас, ни у них нет свидетелей. Во-вторых, это то немногое, что отличает гомо сапиенс от бессловесной скотины.

— Нужны им ваши свидетели.

— И один из отличительных признаков человека — это чувство Родины. Беда, если оно безответно.

— Вам ли жаловаться! Даже улицу назвали вашим именем.

— Помните, у Пушкина: "Они любить умеют только мертвых". Оказалось, что я жив, и улицу в прошлом году переименовали. Но не в этом дело. Вы сейчас предлагаете мне должность доцента, делая это в первую очередь для себя. Но вот беда — он еврей. И надо будет предпринять колоссальные усилия, чтобы преодолеть препятствия по устройству этого нужного еврея.

— А думаете, там лучше? Мне приходится бывать за границей. Я-то знаю, как врачи там пробиваются к должности.

— И национальный признак служит препятствием? Молчите. Так вот, я хочу жить в своем государстве, где, если я не пройду по конкурсу, причиной будет то, что мне предпочли более достойного еврея. Понимаете? Еврея!

Мы долго еще спорили с ним в этот апрельский вечер. Говорили о Библии, о Евангелии — любимых и неперменных темах наших бесед.

После Шестидневной войны он впервые признал мою правоту. Когда началась алия из Киева, он попросил меня:

— Перед тем, как подадите заявление, предупредите меня.

— Зачем? Вы боитесь, что я вас скомпрометирую?

— Нет. Возможно, я даже приду проводить вас. Но

мне это нужно.

Так я и не знаю, зачем ему это было нужно. Он не пришел проводить меня. Его уже не было в живых, когда я подал документы в ОВИР. Но я верю, что он бы не побоялся проводить меня. Верю потому, что, зная обо мне значительно больше других, зная о том, что в СССР я уже временный житель, он не побоялся выступить на моей стороне при чрезвычайных обстоятельствах, противопоставив себя в с е м профессорам-ортопедам Киева. Но об этом я подробно расскажу в отдельной главе.

## В СРАВНЕНИИ С 1913-м ГОДОМ

Для тревоги, казалось не было оснований. Сын сделал все. Даже больше, чем можно было сделать. Он окончил школу с золотой медалью. В 1971 году! В Киеве! И не просто школу, а 51-ю школу, руководство которой было знаменито своим мракобесием.

За шесть лет до этого, когда мы переехали на новую квартиру, я пошел устраивать сына в школу. Окинув меня пренебрежительным взглядом, директор объявил, что мест нет и мне следует обратиться в соседнюю школу. Я знал, что это ложь. Директору пришлось выслушать достаточно настойчивое заявление о правах моего сына, живущего в районе обслуживания школы, примерно, метрах в трехстах от нее. А если у директора есть какие-нибудь субъективные мотивы отказа, их придется оставить за стенами служебного кабинета.

Моя речь не задела директора. Внешне, во всяком случае, он оставался абсолютно спокойным и непробиваемым. "Нет, и еще раз нет. Можете жаловаться в райОНО".

Тут же, из кабинета директора, не спрашивая его разрешения, я позвонил, но не в райОНО, а третьему секретарю Печерского райкома партии. Спокойствие слетело с лица директора. Его явно смутил тон телефонной беседы. На его физиономии было написано недоумение по поводу того, что какой-то еврей так

разговаривает с самим секретарем райкома, с человеком, от которого зависел директор. (Откуда было ему знать, что секретарь — моя пациентка.) Уже одного этого было достаточно. А тут еще секретарь в резкой форме приказала ему немедленно принять сына в школу.

Официальный барьер был преодолен. В ту пору мне трудно было представить себе высоту этого барьера. В одном классе с сыном училась дочь секретаря ЦК КПУ Украины, сын министра просвещения, дочь заведующего отделом ЦК, сын заместителя генерального прокурора, дети видных чинов КГБ и МВД. Много интересного можно было бы рассказать об их нравах. Но это не моя тема. В классе на год старше учился внук председателя президиума Верховного Совета Украины. Уже в двенадцатилетнем возрасте это был законченный негодяй с садистскими наклонностями. По части антисемитизма он был прямым наследником своего деда. К моменту окончания школы внук стал просто социально опасной личностью. Чуть уступали ему отпрыск министра просвещения и наследник заместителя генерального прокурора.

Кроме сына, в классе учились еще два еврея — внук персонального пенсионера, в прошлом видного чекиста, каким-то образом уцелевшего в сталинские времена, и дочь полковника милиции.

В первый день занятий сын пришел из школы с постной физиономией. Дело в том, что Андрей закричал: "А у нас в классе новый жид!" Сын предложил ему выйти для выяснения отношений. Выяснение состоялось на улице после уроков. Больше всего беспокоило сына, что в драке он разбил очки своего противника. Я успокоил его, уверил в справедливости его поступка. Буквально через несколько минут раздался звонок. В дверях стоял генерал-лейтенант МВД.

— Ион Лазаревич, я отец Андрея. Мне бы хотелось поговорить с вами. "Уже знает мое имя", — подумал я и пригласил его войти. В своей комнате сын прислу-

шивался к нашему разговору.

— Ион Лазаревич, мне немного неприятно касаться этой темы. И мы с вами были мальчишками. И мы дрались. Я лично считаю, что родители не должны вмешиваться в неизбежные детские драки. Но это уже не детская драка. Это какая-то дикая жестокость. Ваш сын бросил Андрея на тротуар и буквально изуродовал его лицо.

— Вот как? Сейчас я выясню причину. Если он виноват, он понесет наказание.

— Причем здесь причина? Это ведь явное хулиганство. Это, как я вам сказал, выходит за рамки обычной мальчишеской драки.

— Возможно. Но для меня важна причина. Я его сурово накажу, если он виноват. Сын!

Он вышел подавленный, с недоумением глядя на меня, только что одобрявшего его поступок, а сейчас за этот же поступок собирающегося наказать его. Я велел ему подробно рассказать, что произошло. При слове "жид" генерал-лейтенант неуютно заерзал на стуле.

— Спасибо, сынуля, можешь идти. Ты поступил правильно. Так вот, товарищ генерал-лейтенант. Еще несколько лет тому назад я объяснил сыну, что он не должен уклоняться от справедливой драки с более сильным, не бить слабого и девочку. Только в одном случае он имеет право бить любого, если услышит слово "жид". У вас вот колодки орденов. Не знаю, за что вы их получили, были ли вы на фронте...

— Я, как и вы, был танкистом. (И это он уже выяснил!)

— Тем лучше. Следовательно, вы воевали против фашизма. А антисемитизм — одно из проявлений фашизма. Надеюсь, вы накажете своего Андрея?

— Откуда это у него. У нас в семье он мог слышать только самое лестное о евреях!

— Надеюсь. Было бы очень печально узнать, что мальчик почерпнул антисемитизм в семье генерал-

лейтенанта МВД. До свидания.

Не знаю, какой разговор состоялся у них дома. Но Андрей был одним из первых, с кем сын сдружился в классе. А генерал-лейтенант на выпускном вечере первым поздравил меня с золотой медалью сына.

Золотая медаль не была самоцелью, не была прихотью тщеславных родителей. Она должна была обеспечить возможность поступления в университет.

Сын наших приятелей, Шмулик, военный летчик. Мы любим этого славного парня. Он на год старше нашего сына. Мы часто сравниваем их. Казалось бы, профессия должна была наложить на Шмулика печать. Нет, она не видна, как не видны и другие штампы. Шмулик типичный израильтянин, сабра — раскованный, внутренне свободный, без комплексов, не несущий в себе своего еврейства как сокровище или проклятие. Глядя на него, мы с женой с горечью вспоминаем зажатое детство нашего сына. Вечная настороженность, бесменный внутренний часовой, не позволяющий неосторожно вырваться недозволенной фразе, непомерная тяжесть долга, взваленная на неокрепшие детские плечи.

Сыну еще не исполнилось двенадцати лет, когда у нас состоялся памятный разговор. Я объяснил ему, что такое еврей, что значило быть евреем в средневековой Испании, в Европе времен крестоносцев. Рассказал об уничтожении евреев Украины и Польши Богданом Хмельницким, о ритуальных процессах и погромах в царской России, о погромах во время гражданской войны, о катастрофе европейского еврейства. Объяснил, что значит быть евреем в Советском Союзе. Рассказал об исторических и психологических причинах антисемитизма. Закljučая беседу, сказал: "У нас могут забрать все — имущество, средства существования, свободу и жизнь. Но есть единственное, чего забрать у нас не могут — знания. Накапливай их, чтобы у тебя было то, чего нельзя забрать". Жена и теща резко осудили меня за эту беседу. Они обвинили меня в том, что я

неправильно воспитываю ребенка, что я калечу его душу. Последующие события, кажется, доказали мою правоту.

Еврейская тема была единственным диссонансом в идеологическом воспитании сына. Все прочее шло официально по отлично отлаженной системе промывания мозгов. Будучи учеником 3-го класса, сын сочинил гневное письмо президенту Джонсону. Партия и правительство могли полностью рассчитывать на его единогласную поддержку. Павлик Морозов, как и положено, должен был стать кумиром и образцом. И вдруг, без моего пагубного вмешательства, сработало какое-то блокирующее устройство, и сын, еще будучи ребенком, уже сделался человеком с двойным дном, то есть обычным думающим советским человеком.

В СССР популярен злой анекдот. Цитируют Маяковского: "Мы говорим Ленин — подразумеваем партия. Мы говорим партия — подразумеваем Ленин". И заключают: "Вот так с самого основания советской власти мы говорим одно, а подразумеваем другое".

Интересные люди бывали в нашем доме — писатели, поэты, ученые, художники, артисты. То ли профессия делала их интересными, то ли интересность делала их профессионалами. Важно другое. Среди нас не было явных ниспровергателей советской власти. Большинство собиравшихся были заинтересованы в благе своей страны даже при существующем строе значительно больше, скажем, секретаря ЦК партии. Именно понимание пагубности существующего состояния, тревога, мечта о благе постоянно сверлили мозг замечательных людей, собиравшихся у нас. Во время застолья уверенность, что среди нас нет стукача, что в квартире не установлена подслушивающая аппаратура, развязывала языки. Вещи приобретали настоящие названия. Событиям давалась истинная оценка, очень часто абсолютно противоположная официальной. Стукача среди нас, кажется, действительно не было. Подслушивающая аппаратура, как выяснилось, была. Не известно только,

когда ее установили.

Сын слушал и впитывал в себя наши разговоры. И сталкивались в его детском мозгу диаметрально противоположные представления. И маячил перед ним легендарный образ Павлика Морозова. Но тщательно запланированный титанический труд многоопытного пропагандистского аппарата Страны Советов оказался бессильным перед логикой экспромтов перебивающих друг друга участников наших застолий.

К чести сына надо сказать, что только единственный раз в его двойном дне обнаружилось отверстие. Как-то еще до Шестидневной войны, он не сдержался и высказал своему школьному другу все, что ему известно о так называемой израильской агрессии против Иордании, о которой, брызжа отравленной слюной, сообщали средства советской пропаганды. Уже значительно позже, уверенный, что находится среди друзей, он имел неосторожность высказать мнение, отличающееся от официального. В тесной проверенной компании оказался стукач — ровесник сына. Это было болезненным, мучительным, но полезным уроком. Надо ли объяснять, как все это калечило детскую душу, деформировало характер.

Где-то в восьмом классе, потешаясь, сын прочел мне концовку своего школьного сочинения: "под руководством партии к сияющим высотам коммунизма, на знаменах которого начертано — мир, труд, свобода, равенство, братство". "Ну что, посмеет учительница снизить оценку после такой фразы?" — смеялся он. Затем эта концовка стала штампом. В особо торжественных случаях в штампе появлялись вариации, например, "...на алых стягах которого золотыми литерами начертаны..." Преподавание в школе гуманитарных наук вызывало у сына презрительно-насмешливое отношение. Но на соответствующих уроках он оставался в рамках ортодоксальности, венчая свои безупречные ответы "сияющими высотами коммунизма".

Однажды, придя из школы, сын высказал крайнее



Удивление тем, что дочь невероятно высокопоставленной особы изложила ему правильное понимание какого-то вопроса, абсолютно противоречащее официальной точке зрения. Его очень интересовало, дошла ли она до этого своим умом, или просто в их семье знают, что дважды два — четыре, но предпочитают не называть правильной цифры во имя неограниченной роскоши и власти.

Как и большинство родителей, я не замечал интеллектуальной акселерации сына. Однажды я даже несправедливо возмутился, увидев, что его мировоззрение выплеснуло через край моих представлений. Было это осенью 1969 года. В ту пору я еще с затухающими колебаниями продолжал считать, что созданная Лениным коммунистическая партия была самой прогрессивной и благородной, что ее злокачественное перерождение началось после смерти Ленина, что будь он жив, мы сейчас наслаждались бы изумительными плодами его гениального учения.

Со смехом сын вышел из своей комнаты. В руках у него был раскрытый том Ленина.

— Ты читал статью "Партийная организация и партийная литература"? — спросил он меня.

— Читал.

— Ну и как?

— Что, как?

— Ты же считаешь, что во всем виноват Сталин, а Ленин был с нимбом вокруг лысины.

— Перестань козунствовать!

— Да ты посмотри! В этой статье, в этой грязной демагогии уже видны истоки уничтожения настоящей литературы. А если копнуть поглубже, то даже оправдание физического уничтожения всякого инакомыслия

Мы страшно поспорили. Я обвинил сына в том, что, как и вся нынешняя молодежь, он циничен, что у него нет ничего святого.

— Есть святое. Ты сам меня этому научил. Истина. А сейчас ты не хочешь видеть истину.

Возмущенный сыном, уверенный в своей правоте, я перечитал статью, затем наиболее любимое мною произведение Ленина — "Материализм и эмпириокритицизм". Что это? Демагогия, жонглирование понятиями, звонкое пустословие. Как же я мог не заметить этого 18 лет тому назад? Какими глазами читал я тогда? Я стал просматривать другие произведения Ленина. Боже мой! Да ведь Сталин действительно оказался только учеником и последователем своего учителя! Сын был прав, а я обрушил на него несправедливый гнев. С этой поры родительский авторитет перестал быть моим аргументом в споре.

Отношение к естественным наукам, в отличие от гуманитарных, у сына было очень серьезным. Школа выставляла его своим представителем на олимпиады — биологические, химические, математические, физические. Призовые места на биологических и химических олимпиадах оставляли его равнодушным. Но физические и математические олимпиады он считал ступенями в будущее. Уже в пятом классе он решил стать физиком. Тогда еще нельзя было всерьез отнестись к этому решению. Но он не отказался от него и в старших классах. Победы в семи физико-математических олимпиадах давали основание полагать, что выбор сделан правильно, хотя очень знающая и авторитетная учительница химии уверяла нас, что сыну следует заняться именно этой наукой.

В семье дискутировался вопрос, в какой ВУЗ пойти после окончания школы — на физический ли факультет Киевского университета, или в Московский физико-технический институт? Мне казалось, что в Москве пятая графа будет меньшим несчастьем при оценке знаний. Но золотая медаль усыпила даже мою бдительность. Для поступления сыну предстояло получить высший балл только сдавая единственный экзамен — физику. Задача казалась относительно простой. Мало вероятно, что даже из самых антисемитских побуждений пойдут на явный скандал. Уровень подготовки

сына по физике ни у кого не вызывал сомнений. Для исключения любых неожиданностей, в течение года он часто занимался у физика, читающего в университете, и у одного из лучших учителей математики. Не только они, но и другие преподаватели университета, неофициально экзаменовавшие сына, уверяли, что ему невозможно поставить оценку ниже отличной. Для тревоги, казалось, не было оснований.

Тем не менее, состояние беспокойства не утихло ни на секунду, пока я ожидал сына, сидя на скамейке в парке Шевченко, напротив университета. Четыре часа непрерывно следил я за парадным входом красного здания. Когда же, наконец, появится сын? В момент появления в дверях университета, еще на расстоянии, не видя его лица, я уже почувствовал, что не услышу ничего утешительного. Надо отдать ему должное. В тяжелые минуты жизни он умеет быть собранным и выдержанным. Экзамен, как правило, длился максимум двадцать минут. Его экзаменовали около полутора часов. Два экзаменатора не скрывали своего раздражения по поводу того, что не могут загнать в угол мальчишку, которому только через три месяца исполнится семнадцать лет. Указав на построение отражения в выпуклом зеркале, доцент заявил, что вот эта линия неправильна. Сын возразил, что в построении нет ошибки. Затем последовал вопрос, какова причина возникновения электродвижущей силы в динамомашине. Поняв, что этот вопрос содержит подвох, сын переспросил:

— Причина, или условие?

— Причина.

— Сила Лоренца, — последовал ответ.

— Ничего подобного! Изменение магнитного потока.

— Простите меня, но это не причина, а условие. Я специально переспросил.

Экзаменаторы, тем не менее, поставили четыре, то есть снизили оценку на один балл, что лишало сына заслуженного права немедленно быть зачисленным в

университет. Тут же он написал заявление о том, что не согласен с несправедливой оценкой экзаменаторов. Все это в спокойной повествовательной манере было рассказано рядом с памятником Шевченко, почему-то угрюмо смотрящего на университет своего имени.

Жена, постоянно приглушающая наши с сыном разговоры об антисемитизме, на сей раз взорвалась и дала реакцию, необычную даже для меня.

Через несколько часов нам позвонили из университета и сообщили, что завтра, в девять часов утра сын должен явиться на конфликтную комиссию.

И на сей раз я ждал в парке, не отрывая взгляда от двери университета. Конфликтная комиссия состояла из профессора — председателя предметной комиссии и двух вчерашних экзаменаторов. Доброжелательно улыбаясь, профессор указал сыну на его чертеж:

— Вот вы недовольны оценкой, а ведь вы согласились с тем, что линия неверна и перечеркнули ее. А ведь построение было правильным. Нет у вас, оказывается, уверенности. Поэтому и следовало снизить оценку.

— Простите, профессор, отец предвидел возможность такой ситуации и дал мне ручку, подобной которой нет в Киеве. Эту линию перечеркнул не я, как вы сами легко можете в этом убедиться. Но если вы настаиваете на экспертизе...

— Нет, нет, возможно. Возможно, это какая-нибудь небрежность. Впрочем, это неважно. А вот ошибка с ЭДС — ну, знаете ли!

— Ошибки не было. Доцент Чолпан спросил меня, какова причина возникновения ЭДС в динамомашине. Я специально переспросил — причина, или условие? Не думаю, что доцент, читающий физику на философском факультете, не знает разницы между причиной и условием.

— Так что, я умышленно запутывал вас? — вспылил доцент.

— У меня не должно быть оснований утверждать это.

Человеку свойственно ошибаться. Даже если он экзаменатор.

— Ну, ладно, ладно. Не будем ссориться, — сказал профессор. — Вероятно, действительно имела место досадная ошибка. Мы приносим вам свои извинения. Но изменить оценку возможно только с личного разрешения ректора. Пока же я советую вам готовиться к экзаменам по математике. Я уверен, что юноша с вашими знаниями не может не поступить в университет.

Предстояло попасть на прием к ректору университета, что было задачей не из простых. Но ведь не напрасно в СССР говорят, что блат выше совета министров. Ректор принял меня в своем роскошном кабинете в административном корпусе. Вторая встреча с этим человеком. Интересно, запомнил ли он первую?

В располневшем самодовольном мужчине я сразу узнал поджарого студента на костылях. Тогда, в голодную послевоенную зиму он пришел к моему ближайшему родственнику ликвидировать "хвост" по квантовой механике. Родственник прихварывал и принимал экзамены дома. Случайно я оказался у него в ту пору. Родственник пресек мою попытку оставить их наедине и дал студенту какую-то задачу. Пока тот колдовал над листом бумаги, мы, изредка перекидываясь словом, рассматривали альбом репродукций картин. Наконец, примерно, через полчаса родственник взял в руки лист, над которым в полном смысле слова потел студент. Он покрылся испариной, несмотря на то, что в комнате было весьма прохладно.

— Так, Белый, простите меня за выражение, но вы ни хрена не знаете и знать не будете. Мой вам совет. Переводитесь на филологический, исторический или юридический факультет. Физмат вам не потянуть.

— Михаил Федорович, но ведь я вам почти ответил в прошлый раз. Мне ведь нужна только троечка.

— Белый, не канючите. Я даже двойку поставить вам не в праве.

— Михаил Федорович, ну, допустим, я не буду знать

квантовую механику. Что я не смогу в сельской школе преподавать физику?

— Не сможете. Это преступление — дать вам университетский диплом.

Я слушал этот разговор и симпатии мои (какую — грешен) были не на стороне родственника. Зима. Скользко. Улица Энгельса, где мы тогда находились, — обледеневшая гора. Я знал, как трудно будет спуститься вниз по улице этому парню без ноги ниже колена. Я-то ведь тоже был на костылях.

— Послушай, Миша, может быть, действительно будущие ученики средней школы обойдутся без квантовой механики?

— Слушай, ты, заступник, сам-то ты, небось, сдаешь все экзамены на "отлично". Может быть, и твоим будущим пациентам не все понадобится?

— Речь не обо мне. Если мы, фронтовики, не будем поддерживать друг друга...

— А я что, не фронтовик?

— Именно. Это я тебе и напомнил. Ты предлагаешь парню перевестись на другой факультет. А потерянные годы? Мало того, что четыре года пропало у нас из-за войны?

— Идите вы оба к такой-то матери! Белый, дайте ваш матрикул. Я преступник. Эта тройка будет черным пятном на моей биографии.

Белый долго жал мою руку. А после его ухода Миша ругал меня последними словами. Но они не шли ни в какое сравнение с теми, которые я услышал потом, когда Белый стал профессором, ректором Киевского университета, а затем еще член-коррром академии наук Украины.

— Ты подумай! Университет он окончил по известной тебе системе. И сейчас со всеми своими званиями и должностями он все тот же абсолютный невежда. А ведь я мог предотвратить преступление. Мог. Но вместо этого сам совершил его. И ты, сволочь ты такая, толкнул меня на это!

Я считал, что мой родственник сгущает краски, что в физике невозможны такие фокусы, как в медицине, что, может быть, какие-то пробелы в образовании Белого действительно существуют, но, конечно, не в такой степени, как это следует из рассказов Миши. Как-то, спустя несколько лет, в комнате сына раскатывался неудержимый хохот его друзей по группе. Студенты вспоминали "перлы" из лекций профессора Белого. Все они в один голос уверяли меня, что последний двоечник на их курсе знает физику намного лучше член-корра академии наук Украины профессора Белого. Но это произойдет через несколько лет.

А сейчас ректор Киевского университета милостиво указал мне на стул. Интересно, узнал ли он меня? Впрочем, в подобных ситуациях воспоминания об оказанной услуге могут вызвать негативную реакцию.

— Да-да, мне уже сообщили. Это тот самый парень, который знает теорию относительности, но запутался на ЭДС.

— Простите, Михаил Ульянович, запутался не парень, а экзаменатор.

— Да-да, что-то в этом роде. Ну, так в чем же дело? Конфликтная комиссия должна была исправить оценку и дело с концом.

— Вот именно. А председатель комиссии сказал, что не в праве этого сделать без вашего разрешения.

— Чепуха!

— Я тоже так думаю. Вот вы ему и позвоните и объясните так же популярно, как мне.

— Во-первых, я не имею права оказывать влияние на председателя предметной комиссии, во-вторых, он будет отсутствовать до послезавтра.

— Послушайте, Михаил Ульянович, может быть, мы перестанем играть в кошки-мышки? Мы с вами одинаково понимаем, в чем дело. Но вы считаете, что по государственной линии мне некуда на вас жаловаться, так как вы заместитель председателя Верховного Совета. По партийной линии под вас не подкопаешься,

потому что вы член ЦК. Кроме того, вы полагаете, что, как дисциплинированный гражданин своей страны, я не пойду на скандал за ее пределами. Вот здесь вы и ошибаетесь. Помните, когда мы с вами были антифашистами, мы не раздумывая шли даже на смерть. Я лично остался антифашистом. И если, как вы помните, я мог заступиться за совершенно незнакомого мне человека, то за сына я заступлюсь безусловно. Для начала можно будет сообщить, что ректор, профессор Белый, по забывчивости не прикрепил на дверях Киевского университета табличку: "Евреям вход запрещен".

— Слушайте, что это вы организовали на меня танковую атаку?

— Это еще даже не артиллерийская подготовка. А танковую атаку я вам обещаю. Мне терять нечего.

— Без дураков. Мы действительно не успеваем. До письменного экзамена по математике не будет председателя предметной комиссии. Нельзя рисковать. Пусть ваш сын сдает математику.

— С какой стати? Этим мы соглашаемся с оценкой по физике.

— А что, ваш сын не знает математики? Что, ему трудно?

— Я вижу, вы прекрасно информированы. Следовательно, вам известно, что он был победителем не только физических, но и математических олимпиад. Но где у меня уверенность, что математику не будет принимать такой же антисемит, как Чолпан?

— Даю вам слово! Я лично прослежу за объективностью оценки.

На следующий день сын сдавал письменный экзамен по математике. Пришел он домой уверенный в том, что у экзаменаторов не будет зацепки для снижения балла. Через два дня объявили результаты экзамена. Из 182-х сдавших, только 9-ть получили "отлично". Сын был в числе девяти. Мы успокоились, понимая, что при объективном отношении, обещанном ректором, и на устном экзамене по математике балл будет таким же.



Сразу после экзамена сын пришел ко мне на работу. Одну из задач он не мог решить, и ему поставили тройку. Но больше тройки его огорчило то, что он даже не представлял себе, как решаются подобные задачи. Тут же я обратился к своему пациенту, одному из лучших учителей математики в Киеве. Надо было увидеть его реакцию! Человек очень деликатный, выйдя из себя, он впервые позволил себе "непарламентарные" выражения. Оказывается, задача, притом, не из легких, была из программы четвертого курса математического факультета. Я немедленно поехал в университет. Только у восемнадцати экзаменующихся были тройки. У остальных — пять и четыре. На письменной математике только девять человек удостоились отличной оценки, в том числе и сын, а на устной он оказался среди немногих самых худших.

У ректора был неприятный день, кроме того, его вообще не оказалось в университете. С невероятным трудом я пробился к декану физического факультета. Он стал извиняться, говоря, что вышла накладка, что ректор ему действительно велел проследить, но он, мол, был вынужден поехать на строительство нового корпуса и не успел вернуться в университет к тому времени, когда экзаменовали сына. Но, мол, ничего трагического не произошло. Двенадцать, кажется, будет проходным баллом, и, если сын не завалит экзамена по украинской литературе, то он, вероятно, поступит в университет. Воевать было не с кем. Мои удары погрузались в вату. Декан даже проглотил мои слова о том, что сын по закону должен сдавать не украинскую, а русскую литературу, но и украинскую он знает по меньшей мере значительно лучше украинца декана. Экзамен по украинской литературе прошел без приключений. До сегодня мне не известно, с ведома ли ректора был поставлен спектакль на экзамене по устной математике.

21 августа 1971 года в списке поступивших на физический факультет значился сын — единственный еврей

среди абитуриентов этого года.

В СССР любят все сравнивать с 1913 годом — и сколько чугуна и стали, и сколько газет, и даже сколько насекомых на душу населения. Ну что ж, давайте и мы сравним.

До 1913 года в Киевском университете святого Владимира существовала процентная норма для евреев. Интересно, что хитроумные жида умудрялись каким-то образом превысить, перешагнуть через границу пяти процентов, установленных для них самым реакционным царским правительством.

В 1971 году в том же Киевском университете, но уже ордена Ленина и имени Шевченко, о процентной норме никто не говорил. Да и какие нормы могут быть в самом демократическом государстве, где все национальности равны, в государстве, которое служит образцом для всех угнетенных народов мира. Так вот, в 1971 году на юридический, международный, исторический, филологический и биологический факультеты не приняли ни одного еврея. На физический факультет приняли одного.

Вместе с женой мы поздравили этого еврея с поступлением. Он очень сдержанно поблагодарил нас и вдруг сказал:

— Я вас очень люблю. Сейчас мне еще трудно представить себе жизнь без вас. Но в тот же день, когда я закончу университет, немедленно подам заявление на выезд в Израиль. А вы — как знаете.

Эта фраза явно омрачила праздничное настроение жены и наполнила мое сердце гордостью за сына.

Слово свое он сдержал буквально. На следующий день после получения диплома, сын, вместе с нами, отнес в ОВИР вызов из Израиля. Был сделан первый и самый важный шаг по пути в страну, где нет ни тайной, ни явной процентной нормы для евреев.

## “ИЗРАИЛЬСКИЙ АГРЕССОР”

Мой одноклассник, такой себе обыкновенный провинциальный еврейский мальчик, еще в школьные годы поражал всех своими незаурядными математическими способностями. После девятого класса он добровольно пошел на фронт. Вернулся с войны тяжелым инвалидом с изувеченной правой рукой и мозгом, пульсирующим в большом дефекте черепа. Голодая и коченея от холода в своем общежитии, он с блеском окончил механико-математический факультет Киевского университета, на котором в течение пяти лет был первым студентом.

Вы настроились на необычное продолжение рассказа: его, инвалида Отечественной войны второй группы, имеющего право выбора места жительства, талантливого математика, стопроцентного советского человека немедленно рекомендуют в аспирантуру? Как бы не так! А то, что он еврей, вы забыли? В нарушение закона об инвалидах войны, его направляют учителем в школу, нет, не в Киеве, а в глухом селе Западной Украины. Но нет на этих жидов удержу! Их режешь, их втаптываешь в грязь, а они, подлые, поднимают головы! Учитель забытой Богом сельской школы защитил кандидатскую диссертацию и с огромным трудом перебрался в один из областных центров Украины, где стал преподавателем педагогического института. Через

несколько лет он защитил из ряда вон выходящую докторскую диссертацию, вызвавшую восторженные отклики ученых многих стран. И, тем не менее, в течение пяти лет и четырех месяцев ВАК не утверждал его диссертацию. Только возмущение французских ученых заставило антисемитскую математическую секцию ВАК'а прекратить издевательства.

Этой заурядной историей я начал рассказ о моей докторской диссертации, чтобы не создалось впечатление о каких-либо исключительно трудных условиях у меня лично. Наоборот, все препятствия на моем пути были просто детской игрой в песочке, свадебным путешествием в сравнении с привычным путем еврея-ученого в стране, где нет дискриминации евреев.

Мне было легче еще потому, что к своей диссертации я относился очень спокойно, только лишь как к оформлению еще одной научной работы, описанию нового метода лечения. Диссертация не могла изменить ни моей несуществующей научной карьеры, ни и без нее вполне благополучного для советского гражданина материального положения. Больше того, в 1968 году, когда я начал эту тему, мне уже было предельно ясно, что будущее мое в Израиле, где нет надобности, если можно так выразиться, в четвертой научной степени. Таким образом, защищу я диссертацию или нет, утвердит ее ВАК или завалит не имело для меня особо важного значения. Это была азартная игра, соревнование с условиями, в которых живет советский еврей. Должен признаться, что мне это нравилось.

Наткнулся я на тему совершенно случайно. В ту пору я серьезно готовился к работе по ультразвуковой локализации костной ткани, то есть учил физику. Однажды, войдя в кабинет физиотерапии, я обратил внимание на волновод аппарата индуктотермии, обмотанный вокруг руки пациента. Соленоид! Но если это действительно соленоид, значит воздействует магнитное поле. А если это действительно магнитное поле, то зачем

нужны высокие частоты? Тепловая энергия? Индукто-термия? Но ведь лечение этих заболеваний значительно более интенсивными источниками тепла не дает ожидаемых результатов. Стоп! Еще на третьем курсе профессор, читавший патологическую физиологию, рассказывал нам о шарлатанстве в медицине, одним из видов которого была магнитотерапия. Ушаты сарказма изливал профессор на доктора Месмера, врачевавшего магнитами около двухсот лет тому назад.

Забавно, что первая книга по заинтересовавшей меня теме была взята не в научной библиотеке. Я снова с удовольствием прочел повесть Стефана Цвейга о Месмере. Как прочно укореняются в сознании людей наветы! Как из поколения в поколение передаются необоснованные обвинения, не фильтруясь даже сквозь критичный ум ученых! Ничего общего не было у Месмера с магнитотерапией, если не считать случайного совпадения терминов. А вместо того, чтобы обливать грязью память большого врача, наш пато-физиолог должен был хотя бы упомянуть о том, что Месмер, по существу, один из основоположников психотерапии.

Так началось научное исследование, о котором на первых порах я даже случайно не думал как о возможной докторской диссертации.

Ставились эксперименты. Накапливались интересные наблюдения. Но главное — выздоравливали больные. Выздоровливали без оперативных вмешательств, без болезненных и не всегда безвредных инъекций и даже без лекарств. Почти два года я лечил магнитным полем, образно выражаясь, под восторженные аплодисменты больных и коллег. И вдруг грянул гром. Не знаю, какая муха укусила главного врача\*, но он вдруг запретил мне пользоваться магнитным полем до получения официального разрешения министерства здравоохранения. Формально он был прав.

\* Увы, это был уже не знакомый вам главный врач — русский самородок, а новый, угодный высокому начальству, любое дело доводящий до абсурда.

Визит к председателю ученого совета министерства здравоохранения был облегчен тем, что кто-то из его родственников оказался моим пациентом и восторженно отозвался о лечении магнитным полем. Это определило доброжелательное отношение должностного лица. Но этого оказалось недостаточно. Необходимо было соблюсти определенные формальности, а именно — получить рекомендацию ученого совета ортопедического института, того самого института, в котором с момента моего появления там меня называли бандитом, а потом еще и сионистом, что я считаю единственным, поистине потрясающим, хоть и не научным предвидением этой конторы.

Заместитель директора института, та самая дама, которая была секретарем партийной организации в пору моей ординатуры, предупрежденная председателем ученого совета министерства здравоохранения, не посмела отказать мне в официальном докладе на заседании ученого совета института. Оказывается, у нее была другая возможность помешать мне возобновить работу. Председательствуя на заседании ученого совета, она предприняла несколько попыток дискредитировать результаты проведенных мной исследований. Но ее попытки наткнулись на прочную броню неопровержимых фактов.

Ученый совет принял решение рекомендовать министерству разрешить мне продолжить клинические исследования лечебного действия магнитного поля, но только мне лично, а не еще хотя бы одному врачу. Удовлетворенный результатом заседания, я не обратил внимания на казалось бы несущественную поправку председательствующей: разрешить исследования, если мной будет представлена справка о безвредности аппаратуры. Ну, это уже совсем пустяк. Все равно, что получить справку о безвредности электрического утюга.

Мои пациенты в Киевэнерго встретили меня как родного:

— Какие могут быть разговоры! Дайте паспорт на аппарат, и через пять минут получите справку.

— Но аппарат-то самодельный. Где я возьму на него паспорт?

— Доктор, вы знаете, как мы вас любим, как хотим что-нибудь сделать для вас, но без паспорта на аппарат никто вам не даст такой справки.

Так вот она несущественная поправка заместителя директора института! А я-то не заметил, что маленькая карта оказалась козырной. Все. Круг замкнулся. И нет возможности выбраться из него.

В тот же день я позвонил крупному физика, моему ближайшему родственнику и попросил его дать необходимую справку. Родственник отказал мне под тем предлогом, что ему не известно влияние магнитных полей на биологические объекты. Я долго убеждал его, объясняя, что мне нужна справка не о влиянии магнитных полей, а о безвредности аппарата как электрического прибора. Чтобы отвязаться от меня, родственник сказал, что даже неудобно, если справка будет подписана такой же фамилией, как у меня. Возможно, в этом был какой-то резон.

Значительно более удачным оказался звонок к менее знаменитому физика и не родственнику, а просто приятелю, Илье Гольденфельду. К счастью, я могу с благодарностью назвать его фамилию, не опасаясь дискредитировать его, так как Илья сейчас профессор еврейского университета в Иерусалиме. Без звука возражения или отговорки Гольденфельд дал мне необходимую справку, имевшую только одну, но существенную непрочность — она была подписана евреем. Поэтому, на всякий случай, и, как оказалось, весьма предусмотрительно, я стал искать возможность достать справку с нееврейской подписью. Такая возможность вскоре проклюнулась.

На кафедре ядерной физики Киевского университета состоялся мой доклад. Живой интерес и одобрение аудитории создали благоприятную атмосферу, позво-

лившую мне обратиться к заведующему кафедрой с просьбой о справке. Назавтра мне принесли ее на работу — официально заверенную, с большой университетской печатью.

Я очень сожалею, что лишен писательского дара и не могу передать выражения лица заместителя директора ортопедического института, когда она увидела не одну, а сразу две справки. В глазах ее вспыхнуло пламя. Ни дать, ни взять — баба Яга, предвкушавшая пообедать Иванушкой-дурачком, если он не сумеет выполнить ее задания, и вынужденная остаться голодной, потому что невыполнимая задача каким-то образом оказалась по плечу Иванушке. Достаточно умная, чтобы маскировать свою черносотенную сущность, на сей раз она не сдержалась:

— Ну и мастера вы, евреи, доставать все из-под земли!

— Совершенно верно, Елизавета Петровна, века антисемитизма выработали в нас это умение. Спасибо за учение. В том числе, вам лично.

После более чем двухмесячного перерыва работа возобновилась.

Всякое научное исследование — это преодоление препятствий. У меня ко всему были еще препятствия несколько необычные. Будучи практическим врачом, я не имел места, где мог бы проводить экспериментальную работу. Даже крыс мне иногда приходилось держать у себя дома. И жена с удивительным стоицизмом и даже с чувством юмора наблюдала за тем, как я охочусь за удравшей из своего обиталища крысой, чтобы водворить ее на место, чтобы, не дай Бог, в самом аристократическом районе Киева, рядом с гостиницей Центрального Комитета Партии не появился рассадник крыс, не то еще, чего доброго, обвинят в диверсии сионистов против родного ЦК.

Действительно, трудно поверить, что во второй половине двадцатого века в цивилизованной стране исследователь вынужден держать крыс в своей квартире.



Представляю себе, с каким скептицизмом отнесется к этим строкам человек, побывавший в СССР туристом, имевший возможность посетить великолепно оборудованные научно-исследовательские лаборатории. Бедный наивный турист! Как ему, воспитанному на гласности, понять, что для него, простака, существуют в СССР не только специально выделенные заводы, колхозы, институты, детские сады и прочее, но даже специальная, только ему доступная объективная информация? Да, да, я не оговорился — объективная информация.

В ноябре 1973 года мы жили в Москве, в гостинице "Россия". Конечно, номер для нас был забронирован по благу. Поскольку блат был очень высоким, то номер оказался в северном крыле, где, как правило, останавливаются преимущественно иностранцы.

Утром сын спустился вниз за газетами. Вместе с ними он принес небольшую книжонку в голубом переплете с красной надписью на английском языке "Евреи в СССР". Книга на том же, на английском языке содержала интереснейший статистический материал, информацию о неоценимом вкладе советских евреев в экономику страны, в науку, культуру, о героизме евреев во время войны, о выдающихся генералах-евреях. Даже для меня, специально интересующегося этим вопросом, многие фамилии прославленных военачальников явились откровением. Пятиминутного просмотра было достаточно, чтобы понять, какую огромную ценность представляет такая книга именно для советского читателя, каким великолепным контраргументом против антисемитизма она может быть. Сын сказал, что там, в киоске этих книг навалом и он без труда купит 30—40 экземпляров.

Не тут-то было! В ранний час в полупустом вестибюле гостиницы, где располагался киоск, почти никого не было и книгу некому было покупать, тем не менее, гора книг исчезла, а киоскер заявил сыну, что не осталось ни единого экземпляра. Все правильно.

Турист, приехавший в СССР, имеет возможность убедиться в клевете злобствующих антисоветчиков об антисемитизме в самой совершенной стране. А советский читатель? Не хватало еще, чтобы правда о евреях распространялась в этой замечательной стране.

Но мы несколько отвлеклись от темы, тем более, что даже в Киевском ортопедическом институте, не выделенном для демонстрации иностранным туристам, тоже есть виварий, в котором крысам значительно удобнее, чем в моей квартире. Но какого черта еврею соваться в Киевский ортопедический институт?

Научная работа, на первых порах попросту удовлетворявшая мое любопытство, постепенно разрасталась и оформилась в докторскую диссертацию. К концу осени 1970 года диссертация была завершена, отпечатана и переплетена. Защищать ее я намеревался во 2-м Московском медицинском институте. Хирургический ученый совет там был самым строгим, самым требовательным, но, как мне было известно, не самым антисемитским. Этот совет могла интересовать в основном научная ценность моей диссертации, а уже только потом моя личность. Кроме того, членом этого совета был председатель хирургической секции ВАК'а, что в какой-то мере уменьшало опасность последующего прохождения диссертации в лабиринтах этого странного учреждения.

О предварительной защите я договорился с руководством Киевского ортопедического общества. Не было сомнений в том, что власть предрержащих в этом почтенном обществе, в отличие от хирургического ученого совета 2-го Московского медицинского института, будет интересовать не моя диссертация, а моя, мягко выражаясь, мало приятная им личность. Защита должна была состояться в конце февраля 1972 года.

Вечером в пятницу, ровно за неделю до назначенного дня, у меня раздался телефонный звонок и незнакомый мужской голос произнес:

— Ион Лазаревич, в следующую пятницу ваша пред-

защита. Так вот учтите, что вам собираются устроить еврейский погром.

— Кто это говорит?

— Не важно. Ваш доброжелатель.

— Мои доброжелатели знают, что на меня можно положиться и обычно доверяются мне.

Трубку положили. Так. Кто это? Действительно ли доброжелатель? Или посланец тех, кто собирается устроить мне погром? Попытка испугать меня, деморализовать? А, может быть, действительно отказаться от предзащиты в Киеве, тем более, что я еще болен — после довольно тяжелой пневмонии — и у меня есть возможность почетно отступить? Испугался все-таки! Позор! Кого испугался? Кто из этой банды может оказаться достаточно сильным оппонентом?

Я стал тасовать в уме колоду Киевского ортопедического общества. Практическим врачам работа, вероятно, понравится. Отношения у нас хорошие, коллегиальные. Практических врачей большинство. Но молчаливое большинство. Есть у меня друзья среди профессоров ортопедического института. Но посмеют ли они поддержать меня, выступив против начальства, или в лучшем случае присоединятся к молчаливому большинству? Теперь враги. Серьезной критики диссертации от них, к сожалению и к счастью, ждать не приходится. К счастью, потому, что критика была бы недоброжелательной. Для действительно угрожающей мне критики у них слишком мало знаний. К сожалению, потому, что мне нужен был бы сильный "адвокат дьявола", возражая которому я мог бы подготовиться к самой сложной официальной защите. Выздоровел ли уже член-корр? Сможет ли он председательствовать на заседании общества? Тут же я позвонил ему. Федор Родионович еще был болен.

Его нисколько не удивил рассказ об анонимном телефонном предупреждении. Оказывается, кое-какие слухи уже дошли до его ушей. Мы стали перебирать ударную силу погромщиков. Удивлению моему не

было предела, и, честно говоря, я не поверил член-корру, когда он назвал своего доцента, молодого доктора медицинских наук, который должен был выступить на предзащите официальным оппонентом. Его дружеское отношение ко мне не вызывало сомнений. Недавно, когда он защищал диссертацию, его наиболее сильный противник был нейтрализован моим выступлением. Об этом одолжении доцент слезно просил меня накануне защиты.

— Я знаю, Ион, — сказал член-корр, — что вы сочтете это проявлением украинского антисемитизма. Лично я в этом не уверен. По-моему, меня заживо хоронят и делят наследство. Поэтому Левенец пойдет на любую подлость ради карьеры.

— Приятно слышать, что вы отделяете антисемитизм от подлости.

— Ну-ну, уже сели на своего конька! Послушайте, Ион, а на кой оно вам все сдалось? Мы с вами больны. В следующую пятницу вместо посещения этого зверинца, посидим у меня, тихо выпьем, поболтаем.

— Нет, Федор Родионович, мне противопоказано отступать. Очень жаль, что вы испугались.

— Бросьте, Ион, кого и чего мне пугаться? Вы же знаете, что я болен. Если смогу, — приду.

Настроение мое после этого разговора ухудшилось. Хоть я и хорохорился, но в глубине души прекрасно осознавал, чего стоит быть оставленным без поддержки, один на один с бандой уверенных в своей безнаказанности антисемитов.

В следующую пятницу, в шесть часов вечера с женой, сыном и молодым врачом, моим учеником, мы приехали в ортопедический институт, в конференц-зале которого ровно через час должно было начаться заседание общества. Развешивая фотографии и таблицы, я почему-то не волновался и понимал неестественность этого неволнения. Просто давала себя знать физическая слабость после тяжелой болезни.

Зал стал заполняться задолго до начала. В течение

26 лет я посещал заседания ортопедического общества. Но никогда — ни до, ни после этого вечера не было в этом зале такого количества людей.

Уже назавтра банда начнет распространять слухи о том, что Деген заполнил аудиторию своими подольскими пациентами во главе с евреем Виктором Некрасовым. (Подол — нижняя часть Киева, в которой до революции разрешали селиться евреям. Что касается Виктора Некрасова, писателя, полюбившегося мне еще в госпитале после последнего ранения, когда я впервые прочитал его талантливую честную книгу о войне — "В окопах Сталинграда", то слухи о том, что он еврей, упорно распространялись украинскими письменыками во главе с подонком-антисемитом Малышко. С Виктором Некрасовым мы были очень дружны. Я отлично знал его родословную. И в комиссии по расовой чистоте я мог бы под присягой засвидетельствовать, что среди его предков не было евреев. По отцовской линии он стопроцентный русский. А по материнской... Прадед его итальянец, житель вольного города Гамбурга, женился на дочери шведского фельд-маршала. Я видел роскошный диплом — пергаментный свиток с массивной сургучной печатью на витых шелковых шнурах — об окончании прадедом медицинского факультета Виленского университета. Его внучку, полурусскую, на четверть итальянку и еще на четверть шведку, Зинаиду Николаевну Некрасову, добрую умную женщину, хорошего врача, маму Виктора никак нельзя было обвинить в еврействе. Но какое это имеет значение! Антисемиты, как правило, пользуются не фактами, а слухами. А тут и факты, вызвавшие ненависть антисемитов к Виктору Некрасову. С любовью выписанный образ еврея-лейтенанта Фарбера в книге "В окопах Сталинграда", гневная статья в "Литературной газете" против танцулек на трупах евреев, уничтоженных в Бабьем Яру, пламенное выступление против антисемитизма на неофициальном митинге в годовщину фашистской акции в Бабьем Яру. Возможно, когда

нибудь я расскажу об этом более подробно.)

Ложь о составе аудитории без труда можно опровергнуть даже протоколом заседания: из 143 членов общества присутствовало 123. Было много врачей не ортопедов, в том числе врачи из нашей больницы. Только девять человек в переполненном зале были не врачами: моя жена и сын, еще трое самых близких моих друзей (двое из них уже в Израиле), Виктор Некрасов с женой, нынешний профессор Еврейского университета в Иерусалиме физик Илья Гольденфельд и еще один физик.

Без десяти минут семь в зал шумно ввалилась большая веселая компания сотрудников ортопедического института. Я ждал нападения и представлял себе предполагаемых противников. Но появившаяся группа была настолько неоднородной, что мне и в голову не могла прийти мысль об ударном отряде врагов. Трех профессоров, моих явных доброжелателей, даже стрададая манией преследования, нельзя было объединить с врагами, находящимися в этой группе. Один из доброжелателей, заведующий четвертой клиникой постоянно плакался мне в жилетку, объясняя, как трудно ему существовать в окружении подлецов. Второй, — заведующий лабораторным отделом — во время немецкой оккупации Киева был директором ортопедического института. Возможно, своеобразный комплекс вины был причиной его более чем хорошего отношения ко мне, инвалиду войны против немецких фашистов, хотя он уверял меня, что просто любит интеллигентных людей, которых ему явно недостает в институте. Третьим был профессор, тот самый, числящийся армянином, сын еврейской матери, о котором я уже упоминал. Были в группе и двое абсолютно незнакомых мне мужчин.

Время приближалось к семи. Люди теснились в проходах у стен. Два возможных председателя нынешнего заседания общества не появлялись — директор ортопедического института и член-корр. Что касается первого

то я заранее был уверен в том, что его не будет. Грязную работу он предпочитал делать чужими руками, тем более, что чужие руки делали ее не без удовольствия. Член-корр... Всю неделю я не звонил ему. Возможно, я был неправ, но мне не хотелось, чтобы мое искреннее беспокойство о его здоровье было истолковано превратно, тем более, что и он не звонил мне.

Из разговора за моей спиной между заместителем директора ортопедического института, той самой дамой, и вторым профессором кафедры ортопедии института усовершенствования врачей, тем самым, который приглашал меня на должность доцента, я узнал, что член-корр. все еще болен, что его сегодня не было на работе и на обществе, естественно, не будет. Заместитель директора предложила второму профессору быть председателем. С явным удовольствием на пьяном лице он занял председательское место. Картинно изогнув руку, он посмотрел на часы, готовясь открыть заседание. Стрелка приближалась к семи. В этот момент, протискиваясь между врачами, запрудившими проход, к столу приблизился член-корр. Надо было увидеть выражение лица второго профессора! Не просто неудовольствие — ненависть была написана на пьяной мужицкой физиономии. Он неохотно покинул председательское место, которое тут же занял член-корр.

Красивый самоуверенный мужчина, всегда заботящийся о том, чтобы произвести на окружающих самое благоприятное впечатление, он выглядел сейчас подавленным и явно больным. Только чрезвычайные обстоятельства могли вынудить его появиться на людях в таком виде. Он открыл заседание и тут же предоставил мне слово.

Обычно на заседаниях общества после доклада, вызвавшего интерес, сразу поднималось несколько рук желающих задать вопрос. Как потом выяснилось, доклад вызвал интерес у аудитории. Не знаю, поднялись ли бы руки в этот вечер, потому что не успел еще

член-корр предложить задавать вопросы, как, не ожидая разрешения, вскочил профессор, представляющийся армянином. Он был возбужден. Язык его слегка заплетался. Причина оказалась простой, но выяснилась она, когда мы узнали, что весь "ударный отряд" ортопедического института явился после только что состоявшейся попойки. Справляли масленицу!

Когда-то во время "широкой" масленицы перепившиеся черносотенцы с крестом и хоругвями шли громить евреев. Сейчас сотрудники ортопедического института, сливки советской интеллигенции, перепившись по поводу все той же "широкой" масленицы, спустились в конференцзал на предварительную защиту докторской диссертации опять-таки еврея.

Следуя указанию, полученному во время попойки, полуеврей, скрывающий вторую половину этого слова и числящийся армянином, задал мне первый вопрос:

— Кто вам разрешил экспериментировать на людях?

Это была явная провокация. Спокойно я объяснил профессору, что эргографию, например, я мог бы без всякого разрешения проводить даже на контингенте детского садика, не причиняя детям ни малейшего ущерба, что в других не менее безвредных исследованиях принимали участие мои близкие, друзья, приятели, люди, которых заинтересовала работа, но не подчиненные, не пациенты, не люди, зависящие от меня и подвергающиеся исследованию по принуждению.

Не стану перечислять вопросы, высыпанные на меня представителями ортопедического института. Для этого следовало бы попросту переписать стенограмму заседания.

(Виктор Некрасов потом сказал, что, если бы в стенограмме сохранили в первоизданном виде безграмотную речь задававших вопросы, это было бы завершенное литературное произведение.)

Могу только сказать, что вопросы были подстать первому и ничего общего с научным обсуждением не имели. Особенно изощрялась заместитель директора



института. Но, зарвавшись, она дала мне возможность ответить так, что хохот несколькими продолжительными раскатами прошелся по аудитории, а председатель, с трудом подавляя предательский смех, все снова и снова требовал соблюдать тишину. Незнакомый мне сотрудник ортопедического института, явившийся в составе банды, задал несколько абсолютно нелепых вопросов, вроде "что такое магнитные волны?" Членкорр даже вынужден был сделать замечание, что человек, имеющий степень кандидата медицинских наук, как предполагается, должен иметь и среднее образование. Все это напоминало мне какую-то абсурдную атаку безоружных людей, идущих на пулеметы. Люди падают, падают и снова зачем-то бессмысленно прут на косящий их огонь. Ни председатель, ни я, ни большинство аудитории еще не понимали, что нелепые вопросы тоже имеют определенный смысл, что они преследуют заранее запланированную цель.

Самый великолепный вопрос задал второй профессор. Перелистывая приложение к диссертации, в котором значились фамилии всех моих пациентов, он вдруг спросил:

— А чем объясняется такой состав ваших больных?

Председатель поднялся, чтобы осадить своего заместителя, понимая, какое продолжение может последовать. Но это продолжение мне было необходимо, поэтому я немедленно спросил:

— Что вы имеете в виду?

— Ну, как вы подбирали больных?

— Я их не подбирал. Это жители Киева, обращавшиеся в нашу больницу.

— А почему же здесь так много евреев?

— Вероятно, к чьему-нибудь сожалению, их количество среди пациентов в какой-то мере соответствует демографической картине Киева. Лично я не вычислял процента, так как не это было целью диссертации.

Председатель призвал аудиторию к спокойствию и после непродолжительной заминки последовал следующий вопрос.

Заседание длилось уже два часа. Вопросы прекратились. Тогда в первом ряду поднялся мой друг, заведующий экспериментальным отделом и заплетающимся языком произнес:

— Сейчас девять часов. Обычно в это время мы заканчиваем наши заседания. Поэтому я предлагаю на этом сделать перерыв и продолжить защиту через две недели на следующем заседании.

Так вот зачем нужны были бессмысленные вопросы! Председатель возразил, что предзащита не может быть прервана, ее не считают действительной. Заведующий лабораторным отделом стал кричать, что председатель нарушает демократические принципы научного общества, что он превышает свои права. Глаза его налились кровью, лысина покраснела. Буквально с кулаками он пошел на председателя. Возмущенная аудитория потребовала усмирить хулигана. Членкорр стоял бледный, стараясь унять трясущиеся руки. Сторонники разбушевавшегося профессора, видя свое ничтожное меньшинство, лениво протестовали, когда председатель поставил на голосование вопрос о продолжении заседания. Объявили пятиминутный перерыв.

Виктор Некрасов, деликатный Виктор Некрасов подошел к заведующему лабораторным отделом, еще красному и мокрому от возбуждения, и громко, очень громко сказал:

— Как низко пала русская интеллигенция! Я тоже не трезвенник. Но в таком непотребном виде я никогда не появлялся на защите диссертации.

Профессор хотел что-то ответить, долго шевелил мокрыми губами, опустил глаза и смахнул со щеки одинокую слезу. Потом он оправдывался, мол, его накачали водкой и чуть ли не силой заставили сыграть эту грязную роль.

После перерыва заседание, казалось, вошло в нормальное академическое русло. Выступил первый официальный оппонент, профессор-биолог из системы

Академии Наук. Он высказал столько лестных слов по поводу диссертации, что мне даже стало как-то неловко. Замечания его были сугубо научными. Во время ответа с некоторыми я согласился, некоторые аргументированно отверг, что не вызвало возражений оппонента.

Вторым выступил профессор ортопедического института. Уже значительно позже я узнал, что руководство института усиленно обрабатывало его, взывая к чувствам украинца, призванного бороться с еврейским засилием в науке. Но профессор осмелился возразить, что не может быть какого-либо засилия в науке, потому что наука универсальна. Кроме того, у ученых должна быть совесть. Ему, коммунисту, совершенно резонно заметили, что он забыл о марксистском подходе к науке, что следует отличать науку буржуазную от науки социалистической, основанной на марксистско-ленинском учении. Выступление профессора на заседании общества еще раз продемонстрировало его полнейшее непонимание этих азбучных истин. Его безудержно хвалебная рецензия на диссертацию была началом серьезного конфликта с Киевским ортопедическим институтом, окончившаяся полным разрывом. Профессор-украинец был вынужден оставить не только институт, не только Киев, но и Украину.

Следует заметить, что и до перерыва одно выступление явно выпало из общей тональности. Заместитель главного врача больницы, в которой я работал, должна была выступить с характеристикой на своего подчиненного. Но вместо этого она обрушилась на обструкционистов. Очень эмоционально она рассказала об условиях, в которых практическому врачу приходилось заниматься наукой, об убегающих крысах, об аппаратуре, созданной из "бутылочек и веревочек", о запретах и их преодолении, словом, о том, что было моими буднями.

— Его научная работа, — сказала она, — уже приносит пользу практическому здравоохранению. Посмотрите

рите, какая очередь больных, желающих попасть к нему на лечение. В том числе и работники ортопедического института. А вы здесь впустую тратите государственные деньги на так называемые исследования, которые никому не нужны сегодня и ничего не дадут людям в будущем. Поэтому бездарные люди, занимающие чужое место, с подлым чувством зависти обрушиваются на талантливую работу.

Это выступление было встречено аплодисментами аудитории, чего обычно не бывает и не принято на защитах диссертаций. Мне это выступление не понравилось. Именно завистью было бы удобно объяснить потом все происходящее в этот вечер. Но причины обструкции были настолько очевидны, что версия заместителя главного врача назавтра даже не обсуждалась, хотя и говорили о выступлении, сорвавшем аплодисменты.

С двумя упомянутыми рецензиями, как и положено, меня ознакомили за несколько дней до защиты. Рецензии третьего оппонента я не получил. В начале недели он позвонил мне и попросил прощения за то, что не успел вовремя написать и отпечатать ее. Я охотно простил ему грубое нарушение правил, уверенный в том, что член-корр несколько необъективен в оценке своего доцента, что никаких пакостей от него ждать не следует. Мы были в отличных отношениях. Мне даже пришлось выслушать упреки работающих с ним евреев по поводу выступления на его защите. Мол, нечего помогать махровому антисемиту. Я возразил, что никогда не замечал с его стороны проявлений антисемитизма. В общем, сейчас, после выступления двух рецензентов я был уверен в том, что запланированный погром закончился до перерыва. Возможно, выступит еще один профессор-погромщик, но этим дело и ограничится. Каково же было мое удивление, когда доцент прочитал свою рецензию.

Прошу прощения за нескромность. Мы, как выражаются тяжелоатлеты, борцы и боксеры, были с ним

в разных весовых категориях. Ни знаний, ни опыта ему не хватало, чтобы серьезно проанализировать диссертацию. Конечно, он не мог быть оппонентом на официальной защите. На предварительную был назначен, как начинающий — первая рецензия на докторскую диссертацию. Но он даже не пытался дать мало-мальски объективную рецензию, которую я надеялся от него услышать.

С чувством неоспоримого превосходства, с перелестывающей через край иронией он говорил о том, что научной работой тут и не пахнет, что диссертант даже опустился до того, что ссылается на чьи-то неопубликованные высказывания. Защищаясь, я прочитал соответствующее место в диссертации. Речь шла о заболевании, причина которого неизвестна. Как и принято в случаях неопределенных, рассматривались возможные влияния любого средства при воздействии на различные звенья предполагаемой патологической цепи. Среди гипотез упоминалась еще одна, действительно никем не упомянутая в медицинской литературе. Когда-то мне, молодому врачу, изложил ее мой учитель. Отвечая рецензенту, я сказал, что гипотеза действительно очень красива и могла бы сделать честь любому автору. Но существует такое понятие — честность, которое не позволяет присваивать себе не только чужие вещи, но и чужие идеи. Кроме того, мне было приятно почтить память учителя и упомянуть его гипотезу, которую он не успел опубликовать. Этот ответ почему-то был воспринят как личный выпад. Особенно бесновались рецензент и второй профессор, сидящие рядом друзья и сотрудники одной и той же кафедры.

Пройдет чуть менее трех лет. Как два паука в стеклянной банке вцепятся друг в друга два нынешних приятеля-единомышленника в драке за наследство член-корра. А я-то не хотел поверить в это! И что уже почти за пределами возможного, доцент перещеголяет второго профессора в подлости, которая, конечно, не

проявилась в нем внезапно в момент драки. Но это потом. А сейчас они сидят рядом — два друга, одинаково ненавидящие меня, хотя, и один, и другой прибежали к моей помощи в разное время и даже при этом объяснялись в любви к евреям.

Слово попросил второй профессор. Прошло уже около четырех часов после начала заседания общества, а он все еще не протрезвел. Крепко же он должен был набраться! Мне очень хотелось, чтобы он выступил. Отыявленный антисемит в пьяном виде должен проявить свою сущность. Так бы оно и случилось. Но все испортил председатель. Хитрая улыбка появилась на физиономии второго профессора и он сказал:

— Вот сейчас я задам только один вопрос по поводу приложения. Если диссертант мне ответит правильно, я буду голосовать за, если нет — против.

Зал отреагировал смехом. Председатель, понимая, какой вопрос может последовать, если речь идет о приложении, встал и перебил своего заместителя:

— Это не научный подход. Кроме того, вопросы и ответы на них уже окончены. Сейчас выступления оппонентов — официальных и неофициальных.

Второй профессор осклабился и враскачку пошел на свое место.

Тут поднялся профессор Склиренко, тот самый, который в пору нашей ординатуры подкладывал мне на подушку "Вечірній Київ" с очередным антисемитским фельетоном. Я уже даже опасался, что он не выступит. Дело в том, что незадолго до этого у нас состоялся интересный разговор, который сдержал бы разумного человека от выступления, не могущего остаться безответным. Но вера в безнаказанность, но врожденное и приобретенное юдофобство оказалось сильнее разума. Я еще не знал, что, распалая себя, он пачкает экземпляр диссертации своими безграмотными замечаниями, безграмотными не только с медицинской точки зрения. Потом он избегал меня, боясь расправы. Я пообещал набить ему физиономию за испачканную

диссертацию. А разговор был действительно интересным.

Здесь же, в этом зале проходила предварительная защита кандидатской диссертации практического врача-ортопеда. Я был единственным фактическим руководителем диссертанта. Но, чтобы дать возможность защититься еврею, я согласился быть подпольным руководителем, не значиться официально на титульном листе. Диссертация была хорошей, фундаментальной, с большим "запасом прочности". Безусловно, она была лучше докторских диссертаций большинства присутствующих на защите профессоров ортопедического института. Безупречный доклад не оставлял сомнений в научном уровне диссертанта. Ответы на вопросы — лаконичные, четкие, грамотные — соответствовали докладу. И тут этот самый профессор Скляренко задал вопрос, свидетельствующий об элементарном незнании анатомии, невозможном даже у плохого ортопеда.

Диссертант несколько растерялся и не очень вразумительно стал отвечать на этот вопрос, стараясь, не дай Бог, не обидеть профессора. Из последнего ряда, где я сидел, мне было видно, что не все присутствующие понимают происходящее. Поэтому я задал диссертанту вопрос, ответ на который должен был объяснить ситуацию:

— Скажите, пожалуйста, существует ли надкостница на надмышцелке плеча?

— Конечно, нет.

— Ну, так объясните профессору, что не может быть воспаления надкостницы там, где нет надкостницы.

Диссертант скромно потупился. В зале раздался смех. Профессор должен был понять, что я почему-то не дам в обиду диссертанта. Но не тут-то было. Патологический антисемитизм всегда ослеплял его и лишал осторожности. Он выступил с дикими, абсолютно бессмысленными и безграмотными нападками на диссертацию. Было очевидно, что диссертант, усвоивший бытующую формулу защиты ("в тебя плюют, а ты

кланяйся и благодари”), умноженную на комплекс еврея в диаспоре, не посмеет дать надлежащий ответ. Оставлять эту антисемитскую галиматью без ответа нельзя было ни в коем случае. И я выступил. Прошелся по профессору, как паровой каток. Аудитории стало ясно, что он не только не имеет понятия о теме диссертации, но и просто элементарно безграмотен. После защиты профессор подошел ко мне:

— Чего ты на меня напал?

— Видишь ли, Женя, твоя черносотенная душонка не могла перенести того, что снова жид сделал диссертацию, которая тебе и во сне не могла присниться. Я предупредил тебя вопросом, мол, сиди, не суйся, я не дам Мишу в обиду. Но твое юдофобство, как масло на тормозных колодках — нет тормозов.

— Причем здесь это? Что он займет после защиты мое профессорское место?

— Не займет. А должен бы. Но даже понимание того, что он не займет твоего места, не успокаивает тебя. Ты мучаешься, чувствуя свою неполноценность. Смотри, какую диссертацию отгрохал жид! Никогда тебе не дотянуться до такого уровня. И нет в этом твоей вины. Просто когда у моего народа уже была Библия, твой народ еще хвостами держался за ветки.

В споре с нормальным антисемитом я никогда бы не опустился до подобной фразы. Но с профессором Женей!..

Я ждал его выступления. Иногда возникало опасение, что после той защиты он побоится и не посмеет. Посмел. Тогда ведь я был свободен в своих поступках и выражениях, а сейчас обязан ”кланяться и благодарить”. Правда, у него была возможность убедиться в том, что я не очень кланяюсь и еще меньше благодарю, что я защищаюсь. Но не удержался. Выступил. Он обвинил меня в том, что я ”увлекся физикой и ушел от клиники”. В пылу выступления он снова подставил под удар свою беззащитную медицинскую безграмотность, чем я не замедлил воспользоваться. Сперва в



академической манере я отверг его обвинение. Затем пункт за пунктом стал отвечать на его "перлы", что, естественно, вызвало веселое оживление в зале. Под конец я приберег "перл", которым сегодня он блеснул повторно:

— Что касается эпикондилита плеча, то меня удивляет, что после конфуза во время защиты доктора Р. профессор повторно демонстрирует все то же незнание простых положений.

Профессор Женя подскочил, словно его ткнули спицей в самое чувствительное у мужчины место.

— Я протестую! Он пытается пробраться в когорту докторов наук, а вести себя не умеет! Я требую занести в протокол!

— Ион, ну зачем вы дразните гусей, — тихо сказал председатель, — попросите прощения.

— Какого черта?

— Надо. Ведь не он, а вы защищаетесь.

— Прошу прощения. Я не хотел обидеть профессора. Просто меня удивило, что после той защиты он не заглянул в учебник анатомии. Только это я имел в виду.

Забегая далеко вперед, должен сказать, что профессор Женя сделал ответный выпад. Уже несколько месяцев мы жили в Израиле. И вдруг я получаю письмо с газетой "Вечірній Київ" со статьей видного профессора-биолога. А в статье, что уже совсем невероятно, хвалебные строки в адрес Дегена, автора магнитотерапии. Каким образом могла произойти такая накладка? Ведь непроизносимое имя сиониста, находящегося в Израиле, даже чудом не могло попасть в печать, тем более в такую знаменитую газету. Где был редактор? Где был всевидящий цензор? Разразился скандал. Надо было срочно принимать меры. И приняли. В той же газете опубликовали статью двух киевских профессоров-ортопедов — Скляренко и Кныша — объявивших киевлянам, что магнитотерапия вообще не существует. А киевляне народ привычный. Им уже объяснили, что нет даже теории относительности, генов и кибернетики.

Так что переживут и отсутствие магнитотерапии.

Перед голосованием, вероятно, чувствуя настроение аудитории, заместитель директора ортопедического института встала и направилась к выходу. За ней последовало несколько человек из этой компании, в том числе и профессор Женья.

Заклячая, член-корр сказал:

— Былю задано 49 вопросов. Из них не все по существу диссертации. Тем не менее, на каждый вопрос был дан четкий ответ, не оставляющий ни малейшего сомнения в компетентности диссертанта. Два официальных оппонента заявили о полном удовлетворении по поводу ответов на свои замечания. Третий официальный оппонент ничего не заявил. Возможно, он чувствует себя неудовлетворенным. Но это ощущение субъективное. Я бы даже сказал — эмоциональное. Ортопедическое общество также объективно может быть удовлетворено ответами на рецензию третьего официального оппонента. Так же обстоит дело с ответами неофициальным оппонентам. Поэтому есть предложение рекомендовать диссертацию к официальной защите. Кто за это предложение? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. От имени Киевского ортопедического общества поздравляю Иона Лазаревича с новаторской диссертацией и с блестящей мужественной защитой, которая длилась четыре часа тридцать пять минут. Объявляю заседание общества закрытым.

Поздравления жены и сына. Поздравления друзей. Поздравления врачей знакомых, малознакомых и незнакомых. Калейдоскоп поздравлений и поздравляющих. И вдруг в этом калейдоскопе только для меня сверкнул огромный алмаз. Когда несколько поредела толпа поздравляющих, ко мне подошел старший научный сотрудник ортопедического института, неосторожная фраза которого в утро сообщения о деле врачей-отравителей испугала и меня и его самого. Лицо его было вполне серьезным, только в голубых глазах искрились лукавые блески смеха. Он полу-

обнял меня и тихо, чтобы остаться неслышанным другими, сказал:

— Ну, поздравляю, израильский агрессор!

Забавно, что шутя сказанная фраза, независимо от него, стала определением состоявшейся защиты. Так ее, во всяком случае, квалифицировали антисемиты. Их возмущало, что, защищаясь, я действительно защищался, а не позволял безнаказанно избивать себя. Малюсенькая модель большого мира.

С друзьями мы возвращались домой по скользким улицам ночного Киева. Друзья восхищались членкорром. Мол, если бы не он, банда все могла бы повернуть по-другому. Да, это настоящий человек! Больной пришел председательствовать на обществе, противостоял нализовавшейся черной сотне, пытавшейся в полную силу отпраздновать масленицу.

Восхищаясь, они еще не знали всего. И я не знал. Вечером следующего дня больной, измученный он выедет в Москву, чтобы лично доложить обо всем происшедшем, чтобы предвосхитить дезинформацию. И последствия не замедлят сказаться. Председатель ученого совета министерства здравоохранения СССР пришлет разгневанное письмо заместительнице директора ортопедического института и еще более жестокое — третьему оппоненту. И они будут униженно выкручиваться, объясняя, что их неправильно поняли, что они не были против нового метода и даже не представляли себе, кто именно консультант диссертанта.

А через несколько лет, в тоскливый вечер после похорон членкорра его сын найдет на письменном столе соединенную скрепкой записку с единственным словом "Иону", изумительную фотографию членкорра и больничный лист. Ни сын, ни другие — никто из присутствующих, кроме меня, не поймут этого прощального послания. Больничные листы на дни, включающие дату моей предзащиты и время, проведенное членкорром в Москве.

Добрый смешной человек! Он думал, что я не оце-

нил полностью величия его поступка. Он думал, что я, постоянно называвший его гнилым русским либералом, действительно не отличал цвет русской интеллигенции, не имеющий ничего общего ни с черной сотней, ни с теми, кто своим молчанием поощряет ее деятельность.

Мы пришли домой далеко за полночь. У жены началась головная боль, и я стал сомневаться, нужно ли было все это.

В половине второго ночи позвонил Виктор Некрасов:

— Надеюсь, я тебя не разбудил?

Я успокоил его, выслушал несколько комплиментов и приготовился выслушать основное. Ведь не ради комплиментов он позвонил среди ночи.

— Послушай, — сказал Некрасов, — а ты типичный драчун. Ты явно получал удовольствие от всего этого.

Я упорно возражал, стараясь не выдать себя, не показать, как потрясла меня удивительная пронизательность настоящего писателя. Нет, я не получал удовольствия "от всего этого". Но "все это" мне действительно было необходимо. Мне было необходимо продемонстрировать путь в науку человека, как говорили мои друзья, с биографией советского ангела, но с одним весьма существенным изъяном — записью "еврей" в пятой графе паспорта.

Знали об этом только два человека — член-корр и я. Догадался еще один — Виктор Некрасов.

Через несколько месяцев без всяких происшествий я прошел положенную предзащиту во 2-м Московском медицинском институте, где потом состоялась и официальная защита\*.

Действительно, я был повинен в головной боли у моей жены в ту ночь. Но оправданием мне служит, что и сейчас, девять лет спустя, в Киеве, да и не только в

\* Сейчас мы иногда вспоминаем официальную защиту с моими друзьями докторами Татьяной и Мордехаем Тверски, которые пришли на нее незадолго до своего отъезда в Израиль.

Киеве, вспоминают ту предзащиту и даже иногда делают из "всего этого" правильные выводы.

## ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Троллейбус остановился возле гостиницы "Киев" — чуть более ста метров до моего дома. В мозгу упорно продолжал вращаться тяжелый маховик мыслей о работе, о больных. Может быть, поэтому буднично-привычной казалась и прелесть Мариинского парка, и тонкий аромат только что расцветших лип. Может быть, поэтому таким неожиданным оказался оклик:

— Здравствуйте, Ион Лазаревич!

Впрочем, заурядно-симпатичный молодой человек, многократно отражающийся в зеркальных стеклах вестибюля гостиницы "Киев", любил и умел озадачивать неожиданным появлением. Это была его профессия.

Впервые он огорошил меня несколько лет тому назад, когда, предъявив удостоверение офицера КГБ, высыпал на меня такое количество фактов, которые, — я был в этом уверен, — не могут быть известными кому-либо, что я почувствовал себя голым на многолюдной улице. Потом неоднократно он "случайно" наткался на меня. Ему легко и просто было симулировать случайную встречу, так как я жил в доме № 5, а его "комитет" находился в № 16 на той же улице.

Во время "случайных" встреч он то отчитывал меня за "митинг", как он выразился, устроенный на могиле Цезаря Куникова, то пытался выяснить, кто был шестым, когда Наум Коржавин читал нам свои стихи (пятерых КГБ индентифицировал по голосу, но и это я подверг сомнению в разговоре с моим "случайным" собеседником, тем более, что шестым был мой сын), то увещевал прекратить встречи с Мыколою Руденко и т.д. Вскоре он убедился в том, что неожиданность встреч и атаки на меня не производят впечатления

(один Бог знает, каких усилий мне стоило укрепить его в этом мнении). Стиль его несколько изменился. Он по-прежнему всегда старался ошарашить меня. Но почти прекратились вопросы, на которые, в чем легко было убедиться, у него не было шансов получить ответ. Мне кажется, что в его задачу и не входило получение сведений. Главное было запугать меня, держать в напряжении, показать, что недремлющее око КГБ следит за каждым моим движением.

Вскоре после начала "случайных" встреч я обнаружил уязвимое место у моего "ангела". Во время той встречи, он упорно пытался выяснить, откуда у меня красная папка с запретными стихами. Я уверял его в том, что не помню, кто мне ее дал, что даже если бы помнил, то не сказал бы, но на сей раз действительно не помню (помнил! Вероятно, и он понимал это). То ли стараясь блеснуть, то ли преследуя другую цель, он вдруг сказал:

— Да, кстати, а "Воронежских тетрадей" Мандельштама у вас нет. А у меня есть.

— Небось, стащили у кого-нибудь во время обыска?

— Ну, это вы бросьте, этим мы не занимаемся!

— Послушайте, — вдруг сказал я, — дайте прочитать "Архипелаг ГУЛаг". Вы же знаете, — я аккуратный читатель.

Надо было увидеть, как испуг преобразил недавно-комсомольское бесстрашное лицо!

— Перестаньте! Что это за штулки?!

Интересно, была у него записывающая аппаратура, или только микрофон. В другой раз "случайная" встреча состоялась в почти безлюдном парке, когда я возвращался из больницы домой. Стараясь прекратить серию неудобных для меня вопросов, я снова повторил свою просьбу.

— Бросьте свои штулки! — сказал он, тревожно озираясь. Возможно, сейчас работала другая система протоколирования.

И вот этот "ангел" неожиданно окликнул меня:

— Здравствуйте, Ион Лазаревич!

— Здравствуйте.

— Что-то у вас сегодня мрачное настроение. Чем-то озабочены?

— Бывает.

— Решили ехать?

— Решил.

Забавная вещь. Вопрос "решили ехать?" не требовал уточнений, хотя мог относиться к чему угодно — к троллейбусу № 20, к поездке на Труханов остров, в командировку, на курорт, на юг или на север. Нет, все было предельно понятно. "Решили ехать?" — значит в Израиль. Навсегда.

— Ну что ж, вполне закономерно. Скоро исполнится тридцать лет с того дня, когда вы впервые решили это.

Никогда еще ему не удавалось так ошарашить меня. Трудно описать, как я напрягся, чтобы не доставить ему удовольствия, выдав свои чувства, чтобы не дать ему возможность обрадоваться по поводу удачного профессионального выпада.

— Неужели не забыли?

— Ну, что вы, Ион Лазаревич, мы ничего не забываем!

А мы-то с Мотей были уверены, что забыли.

Два глупых идеалиста осенью 1947 года мы написали в ЦК ВКП/б/ о своем желании поехать в Палестину воевать против англичан за создание независимого еврейского государства. Мотивировали свою просьбу тем, что на войне с немецкими фашистами были боевыми офицерами, что наш военный опыт может пригодиться в борьбе против английского империализма. Нет, в ту пору я не был сионистом. Но недавно Мотя озадачил меня вопросом: "Ладно, ты не был сионистом. А почему ты не предложил послать тебя в Грецию или в Китай, где тоже нужен был твой военный опыт, а именно в Палестину?"

В 1948 году, в разгар репрессий против "космополитов" мы с Мотей боялись, что карающий меч побе-

дившего пролетариата обрушится на наши глупые головы. Но время шло, и никто не напоминал о нашей просьбе. Последние страхи пронеслись над нами в 1953 году. Мотя в ту пору был армейским врачом, а я — клиническим ординатором, обвиненным в сионизме уже по другому поводу, о котором даже не имел представления. Да, мы были уверены, что забыли. В 1974 году Мордехай Тверски уехал в Израиль. Именно он организовал мне два вызова, о которых, естественно, знал КГБ. Так что вопрос "решили ехать?" был абсолютно закономерным. Но то, что не забыли...

Я перешел в наступление:

— Да, кстати, что это за фокусы вы проделываете с вызовами, посланными теще? Из четырех вызовов в течение нескольких месяцев она не получила ни одного.

— Мы здесь ни при чем. Это почта.

— Ага, значит я могу пожаловаться в международный почтовый союз на плохую работу советской почты?

— Ну, зачем так сразу жаловаться? Есть еще время. Может быть, получите.

— Будем надеяться.

Действительно, через несколько дней теща получила сразу два вызова, из них один, отправленный еще в январе.

На следующий день после получения сыном университетского диплома мы пошли в Печерский ОВИР регистрировать вызовы. Рубикон был перейден.

Если бы собрать несколько десятков описаний того, как евреи расстаются с Советским Союзом, могла бы получиться потрясающая книга. Мое описание не достойно этой книги, потому что наш отъезд можно отнести к категории наиболее легких.

Прежде всего мне предстояло выбыть из партии, членом которой я состоял 33 года. По критерию совести (а именно этим критерием определялось страстное желание восемнадцатилетнего офицера перед боем стать коммунистом) я уже давно из нее выбыл. Не



стану возвращаться к объяснению причин, достаточно ясных из предыдущего изложения. Уже в течение десяти лет я чувствовал себя инородным телом в этой партии.

Читатель, не знающий советской системы, может удивиться, какого же черта я десять лет с таким настроением продолжал быть членом этой партии. Как объяснить ему, что мое гражданское мужество было заблокировано заботой о сыне, которому пришлось бы расплачиваться за то, что его отец получил удовлетворение, хлопнув дверью. Через несколько дней после Шестидневной войны моя партийность чуть не окончилась по независящим от меня обстоятельствам.

Был в нашей больничной партийной организации интересный для наблюдения тип, некий Кочубей. Член партии с 1929 года. В 1937 году он лишь две недели отсидел в тюрьме. Уже только это наводило на размышления. Никакого отношения к медицине он не имел. Был отставным подполковником. Его военная должность, — несмотря на дремучее невежество и безграмотность, — заведующий клубом. Он оставался единственным парт. прикрепленным к больничной организации. Избавиться от него не было ни малейшей возможности: не разрешал райком партии. Нам было ясно, что райкому не разрешает другая, не очень партийная организация. Через несколько дней после Шестидневной войны мы с ним поспорили по какому-то очередному поводу. Ссора происходила в присутствии врача-еврея, весьма уважаемого в нашей больнице. Желая основательнее уязвить меня, Кочубей сказал: — Такие, как вы, служат Израилю.

Я поблагодарил за комплимент, объяснив, что завершившаяся война отчетливо показала, кто служит Израилю. А вот такие типы, как Кочубей, одинаково плохо, хоть и очень старательно, служат в зависимости от обстоятельств то советской власти, то немецким фашистам, то Петлюре, то Махно, то вообще кому угодно. Потом, при разбирательстве возникшего дела,

врач-еврей с деликатно-заискивающей улыбкой на интеллигентном лице изворачивался, извиняясь по поводу того, что не расслышал, говорили ли что-нибудь об Израиле.

На бюро Печерского райкома, в присутствии, примерно, ста человек, устав от лицемерия, я высказал все, что думаю и по поводу этого разбирательства, и по поводу деятельности бюро, и по поводу личности секретаря райкома, как представителя власти, и по поводу самой власти. Результатом, в лучшем случае, могло быть исключение из партии. Но меня почему-то не исключили, а только дали строгий выговор.

Мое членство ограничивалось ежемесячной уплатой взносов (по этому поводу я мрачно шутил, что каждый месяц разбиваю бутылку коньяка о бровку тротуара) и нерегулярным присутствием на собраниях, во время которых я читал что-нибудь интересное, чтобы не слышать очередной болтовни. В течение последних двух лет я побил своеобразный рекорд, умудрившись ни разу не быть на собрании. Отговаривался то плохим самочувствием, то срочной работой. Меня как-то терпели. Может быть, потому, что в это время я был уникалом — единственным доктором наук на поликлинической работе, к тому же руководителем нескольких диссертантов.

И вот сейчас, в прекрасный июньский день я вручил секретарю партийной организации заявление, в котором было написано, что, так как я навсегда покидаю пределы Советского Союза, по уставу партии я не могу быть ее членом.

Однажды в Москве мне пришлось выслушать рассказ моего очень высокопоставленного знакомого. Только что он вернулся не принятый еще более высокой особой. Гнев распалил его так, что плесни на него водой — она зашипит. Ненароком я распалил его еще больше, заметив, что не удивительно, если даже он, такая персона, не может попасть с первого захода к значительно большему чину.

— Да о чем вы говорите?! Это убожество работало у нас инженеришкой. Пискнуть он не смел в моем присутствии. Навытяжку тянулся передо мной, по стойке "смирно". Однажды, потешаясь, мы выбрали его в партком. По принципу, что на работе от него все равно нету толку. Он был настолько ничтожным, что его посчитали удобным даже для Московского Комитета. А потом он пошел еще выше. Ну, а кто он теперь, вам известно. И вот это дерьмо, забыв, кто его сделал человеком, смеет не только часами держать меня в приемной, но и вообще не принимать.

Смешной и точной была фраза "по принципу, что на работе от него все равно нету толку". Именно по такому принципу мы избрали своего секретаря парторганизации. Даже когда к презираемым за неумение и незнание стоматологам в поликлинике толпилась очередь страдающих от зубной боли, ее кресло пустовало. На первых порах это был идеальный секретарь парторганизации. Она справедливо стеснялась своего собственного голоса. Но, избираемая в четвертый или в пятый раз, она вдруг решила, что в самом деле представляет из себя нечто.

Мое заявление привело ее в замешательство. Я отдал ей партбилет, объяснил, что отныне я уже не коммунист, что самое удобное для всех решение — тихое получение нужной для ОВИР'а справки о том, что я исключен из партии. Наверно, даже ее рудиментарного воображения было достаточно, чтобы представить себе картину моего публичного исключения. Поэтому она тихо согласилась. Но на следующий день, смущаясь, она сказала, что председатель парткомиссии райкома требует созыва партсобрания.

— Ладно, созывайте. Только, помните? Однажды решили наказать еврея, поставив ему огромную клизму. Результат оказался ужасным. Напор был так силен, что еврей окатил ставивших клизму калом с ног до головы.

За окнами улыбалось доброе июньское солнце.

Буйствовала зелень верхней части Владимирской горки. Нижнюю часть по приказу начальственных идиотов уже превратили в пустырь — строительную площадку для еще одного музея Ленина. Пришло время вырубить прекрасный старый парк в честь святого Владимира, заменив живую прелесть мертвым гранитом и мрамором в честь нового святого, по воле случая тоже Владимира. Как всегда, с опозданием сходились на собрание мои уже бывшие "партайно-носсе".

Старый врач сидел за столом напротив секретаря парторганизации и платил ей взносы. Он мучительно мусолил денежные купюры. На лице застыла безысходная тоска и грустные мысли отпечатывались на этом фоне. Думал старый врач о том, что есть счастливики, которые уезжают в Израиль, а он вынужден оставаться со всеми заботами и несчастьями, с перенаселенной квартирой, с постоянным дефицитом в бюджете, с непрерывными поисками блата на продовольственном и промтоварном ристалище. Но мало того, счастливики сидят сейчас с беззаботным видом и не должны выбрасывать кровные рубли на черт знает что. А ты оставайся в этом дерьме да еще плати деньги.

Все это, как и я, без труда прочел на его лице мой коллега. Мы переглянулись и расхохотались. Старый врач укоризненно посмотрел на нас и страдальчески произнес:

— Сволочи вы, сволочи...

Тут хохот наш стал просто неудержимым. Секретарь недоуменно посмотрела на нас. Мозг ее был недостаточно развит даже для понимания членораздельной речи, где уж ей было понять немую сцену. А вообще какой такой смех может быть перед исключением из партии.

Началось собрание. Секретарь прочла мое заявление. Наступила продолжительная тишина. Секретарь все снова и снова просила, увещевала, настаивала высту-

пить. Странно, но желающих не было. Кто-то сказал:

— Чего там выступать. Исключить и кончено.

— Но райком требует протокол с выступлениями, — пожаловалась секретарь. Видя, что так никто не решится выступить, секретарь сама подала пример: — Товарищи! Деген неоднократно нарушал трудовую дисциплину. Поэтому я предлагаю исключить его из коммунистической партии как сиониста.

Нехороший я человек! Нет, чтобы промолчать, пожалеть фюрера нашей организации, решившегося на такое продолжительное, завершённое и логичное выступление! С места я подал реплику:

— Что касается трудовой дисциплины, то вы совершенно правы. Но, что касается сионизма, то во время наших интимных отношений я вам ни разу не сказал, что еду в Израиль. А вдруг я направлюсь в Данию, как тогда быть с сионизмом?

Секретарь растерялась. Она не могла сообразить, как ответить. Возможно, она старалась понять, что я имею в виду под интимными отношениями, а даже если сообразила, вспомнить, состою ли я в числе тех, кто действительно находился с ней в каких-то отношениях. Тут на выручку своему лидеру пришел хороший советский еврей.

В последнее время в глаза бросалась удивительная закономерность: чем хуже врач, тем он активнее на собраниях. На врачебной лестнице наш отоларинголог стоял на одну или две ступеньки выше секретаря-стоматолога. Разница почти неощутимая. Сейчас, до глубины души возмущенный отъездом еврея, он задал вопрос о причине этого отъезда. Вежливо улыбаясь, я ответил:

— Вас удовлетворит, если я скажу, что причина — воссоединение семьи?

Моя маленькая красивая страна! Почему ты так многотерпима? Почему ты без разбора принимаешь всякое дерьмо на том основании, что все евреи имеют право вернуться в свой дом? Почему ты не закрываешь

двери перед недостойными? Когда мой друг доктор Дубнов подал документы на выезд в Израиль, первую скрипку во львовском оркестре травли играла еврейка, работник областной прокуратуры. Прошло семь лет. Она, шельмующая сиониста Дубнова и прочих "недостойных" евреев, прикатила в Израиль, на свою, как она сейчас говорит, историческую родину. И доит эту родину, потому что ничего не способна ей дать. И качает права.

Маленький мой Израиль! Как много своего собственного дерьма ты вмещаешь! Зачем же тебе еще привозное? Американцы в Риме, прежде, чем впустить в свою обетованную Америку проезжающих мимо Израиля евреев, заглядывают им в зубы и в задний проход. И евреи раболепно ржут, перебирают копытами и помахивают хвостами. Так, может быть, и в Вене стоит проверить, кто направляется в нашу страну? Нет, я не потомок рабовладельцев. Я против осмотра зубов. Но ни прокуроршу, ни моего "друга" доктора Баскина, ни им подобных я бы в Израиль не впустил.

Вдруг всю музыку испортил украинец — заведующий одним из поликлинических отделений. Даже настроившись на ироническую тональность, я был вынужден воспринять регистр его выступления контрапунктом. Он говорил о том, как, будучи студентом и работая в нашей больнице фельдшером, вместе с другими студентами старался попасть на мои операции и обходы, чтобы учиться врачеванию. Как сейчас администраторы страдают от наплыва больных, не имеющих возможности попасть ко мне на прием. Как члены ЦК и правительства оттирают простых советских граждан, в нарушение принципа территориальности, становясь моими пациентами. Что касается трудовой дисциплины, то даже стыдно, мол, было произносить эту фразу, так как чудовищный педантизм и точность Дегена стали предметом анекдотов. Короче говоря, я почувствовал себя таким хорошим, что чуть было в нарушение устава КПСС не решил уехать в Израиль, оставаясь

членом партии. Но заведующий поликлиническим отделением все-таки предложил просто исключить меня из партии без всякой формулировки, как уезжающего из Советского Союза.

Вероятно, бедному Ивану здорово досталось за это выступление. Потом он пытался хоть частично реабилитировать себя, согласившись сделать гадость моей жене. Но это уже потом. А сейчас, как я уже сказал, музыка была испорчена. Собрание не сыграло по райкомовским нотам.

Зато через несколько дней на партийной комиссии... Я сидел в конце длинного стола напротив высокого тощего старика с лысым или бритым черепом, обтянутым потрескавшимся от времени пергаментом. Самое нежное, что я услышал от него, это содержание письма, переданного в райком из президиума Верховного Совета, куда неназванный автор обратился по поводу моей подлой неблагодарности родине. Мол, из карьеристских соображений я вступил в партию, получил от страны все — дипломы врача, кандидата и доктора наук, шикарную квартиру и т.д., а сейчас покидаю эту страну. Автор письма требует лишить меня всех наград и дипломов. Прочитав, председатель стал кричать, что этого мало, что такой субъект, как я, вообще пользуется долготерпением советского народа. Я прервал его крик, напомнив, что за окном не 1937, а 1977 год, что, если он привык кричать на свои беззащитные жертвы в камерах, ему придется заметить, что в этом помещении есть окна и даже пока незарешеченные, и что у меня хорошо поставленный командирский голос, которым я всегда могу перекрыть его. Я предупредил, что, если он посмеет разговаривать со мной в неуважительной манере, я тут же покину помещение, потому что уже пересек определенную черту и уже сейчас считаю себя свободным гражданином другой страны, а если я сейчас присутствую здесь, то это только признак моей воспитанности и вежливости. Сидевший рядом со мной член парткомиссии успока-

ивающим жестом руки подал мне знак, мол, не надо реагировать на услышанное, мол, это пустая формальность.

Жена, мое сдерживающее начало, отреагировала на рассказ о заседании парткомиссии несколько необычно. Ее возмутило анонимное письмо. Она потребовала, чтобы на заседании бюро райкома я дал соответствующую отповедь на него. Мы не подвергали сомнению существование этого письма. Многократные телефонные звонки анонимов (не думаю, что все они были инспирированы определенной организацией) содержали гневное осуждение полноценными советскими гражданами моего предстоящего расставания с ними, а нередко — и угрозы. Даже некоторые мои благодарные пациенты были возмущены тем, что я больше не буду их лечить.

В приемной перед бюро райкома в ожидании судилица у меня было такое же спокойно-ироническое состояние, как и перед партсобранием. И здесь забавный случай рассмешил меня. Из зала, в котором заседало бюро райкома, вышел распаренный, красный мой старый знакомый еврей. Когда-то мы учились с ним в одном институте. Увидев меня, он растерялся. Было видно, как страх общения со мной перебивает в нем другие чувства. Он только испуганно кивнул мне и выскочил из помещения. Мог ли я осудить его? Только что с него, советского еврея, сняли взыскание, которое год тому назад он схлопотал за финансовые нарушения. Я-то уезжаю, а он остается...

В 1967 году бюро райкома еще скромно заседало за шикарным полированным длинным столом. Сейчас было куда солиднее. Темного полированного дерева столики-кафедры, каждый на одного человека, угрожающим клином выстроились углом назад, оставив одинокое место у основания для такого же, правда, столика, предназначенного вместить подсудимого. За ним у стены три сплошных ряда кресел, обтянутых цветным пластиком, — места для секретарей первич-



ных парторганизаций, приглашенных наблюдать суд инквизиции.

Я занял место подсудимого. Напротив, в недостижимой дали во главе клина сидел первый секретарь райкома. За каждым столиком, нацеленным на меня, — член бюро. Справа, у основания клина, череп, обтянутый сморщенным пергаментом, поднялся над всеми, стараясь распрямить поддерживающую его согбенность. Сейчас я вспомнил, кого он мне напоминает. Был у меня пациент — отставной полковник КГБ, такой себе хороший советский человек. Как-то его жена, рассказывая о нем, испуганно оглянулась и прошептала: "Это страшный человек. У него руки по локти в крови". Вероятно, на заседании парткомиссии я не случайно сказал черепу о камере. В совсем другом, повествовательном стиле он прочитал мое дело.

Слева от меня, тоже у основания клина молодого вида седовласый, типичный украинский селянин сказал:

— Это предательство.

Я тут же ответил:

— Естественно, что не у всех членов бюро райкома есть даже начальное образование. Поэтому им можно простить незнание значения произносимых ими слов. Вот на фронте я действительно видел предательство. — Я ткнул пальцем в седовласого, не опасаясь, что мой жест протоколируется. — Кроме того, странно, что молодой человек, член бюро райкома позволяет себе выпад против советского правительства, подписавшегося под Декларацией прав человека и — совсем недавно — под Хельсинкским соглашением.

Не без удовольствия я взял на вооружение демагогию, на которой был вскормлен и которая составляла основу заведения, где я сейчас находился. Председатель райисполкома, в прошлом мой пациент, совершенно искренне спросил:

— Ион Лазаревич, мы ведь вас так ценим, так хоро-

шо относимся, дали вам такую чудесную квартиру, когда вы решили уехать?

Мне надо было только получить справку о том, что я исключен из партии. Я вовсе не собирался объяснять мотивы, причины и все прочее, что пролило бы свет на истинную дату моего решения. Поэтому я кратко ответил:

— В январе.

Тут же этот ответ иронически повторил второй секретарь райкома, сидящий рядом с первым. Я много слышал о его открыто антисемитских выступлениях на различных партийных собраниях. Этот молодой человек всюду не сомневался в своей безнаказанности, а уж у себя дома...

— В январе, — издевательски пропел он, — от рождения это у него!

Я медленно поднялся.

— Как вы сказали? От рождения? В крови это у них у всех? Что здесь происходит? Кто-то спросил о причине моего отъезда. Нужно ли объяснять причину, если даже в этом помещении, здесь, где декларируется интернационализм, здесь, на заседании бюро райкома, идейный руководитель, секретарь, ведающий пропагандой, позволяет себе фашистский выпад. В крови это у них у всех? В шестнадцать лет я пошел на фронт воевать против этой фашистской формулы о крови. На заседании парткомиссии он, — я кивнул в сторону черепа, — посмел прочитать гнусную анонимку, в которой написано, что я вступил в партию из карьеристских соображений. Какие это были соображения? Первым пойти в атаку? Первым пойти в боевую разведку? Карьера первым получить фашистскую болванку?

— Не только вы воевали, — прервал меня первый секретарь. — Вот за вами сидит бывший военный летчик, Герой Советского Союза, сейчас секретарь парторганизации. Вот он, вы назвали его молодым человеком, тоже был на фронте. Сейчас он, как и вы,

доктор наук, доктор исторических наук, заместитель директора института истории Академии Наук.

— Отлично. Всякий ученый, ставя эксперимент, параллельно должен провести контрольный опыт. Жизнь — это отличный ученый. Она поставила безупречный эксперимент, результаты которого я имею возможность сейчас продемонстрировать. Как вам известно, дважды — в шестнадцатилетнем и в семнадцатилетнем возрасте я добровольно пошел на фронт. Член бюро райкома, которого вы сейчас привели в пример, ни разу не был добровольцем. В армию его просто призвал военкомат.

Забавная вещь. Впервые в жизни я видел этого человека. Никогда прежде даже не слышал о нем. Но какое-то прозрение снизошло на меня. Я знал, что не ошибусь даже в деталях.

— Вам известно количество и достоинство полученных мною правительственных наград. Ничего похожего нет в контрольном случае. Я вернулся с войны инвалидом. В контроле, слава Богу, нет никаких увечий. Вы можете сказать, что это счастливая случайность. Но в нашей ударной танковой бригаде я был счастливой случайностью. У нас, как мрачно шутили: два пути: наркомзем или наркомздрав. Несмотря на то, что институт я окончил не просто с отличием, а со сплошным высшим баллом (контрольному случаю такое даже не могло присниться), обе диссертации я делал, будучи практическим врачом, во время, когда мне полагалось отдыхать после тяжелого труда оперирующего ортопеда-травматолога. А контрольный случай склеивал вырезки из газет в свои рабочие часы, получая за это зарплату, в два или три раза превышающую мою ставку, да еще отпечатал свои так называемые диссертации за счет государства. Я с глубоким уважением отношусь к гуманитарным наукам. Я понимаю, что это — необходимые накладные расходы. Но обе диссертации контрольного случая ничего общего с наукой не имеют. Это рента, сосущая государст-

венные соки и не дающая взамен даже одного атома пользы. По данным Центрального института усовершенствования врачей моя диссертация только по одному показателю — экономия на больничных листах только в течение одного года, только в больницах, откуда получены сведения, дала государству экономию в четыре миллиона рублей. И после всего этого контрольный случай выступает не только сообщником человека, позволившего себе расистское заявление, но и сам подал безответственную реплику.

В течение двадцати минут, не перебиваемый ни разу, я говорил такие вещи, которые раньше опасался высказывать даже в кругу относительно проверенных людей. Когда я умолк, первый секретарь долго перекладывал на своей кафедре какие-то бумаги, потом сказал:

— Вот видите. Вот вы приедете в Израиль и расскажете все то, что сейчас рассказали. Ведь это же антисоветская пропаганда.

— Во-первых, — ответил я, — материал для этой пропаганды, как вам известно, был организован не мною. Во-вторых, здесь кто-то правильно сказал, что я уже не юноша, а мне предстоит начинать жизнь сначала. Для пропаганды у меня просто не будет времени. Вот пошлите в Израиль его, — я ткнул пальцем в сторону второго секретаря, — посмотрите, какой антисоветской пропагандой он займется.

— Есть предложение исключить.

— До свидания, — я поклонился членам бюро, повернулся, чтобы поклониться секретарям парторганизаций. И тут случилось нечто невероятное.

Приподнялся невысокий худощавый мужчина с золотой звездой Героя на лацкане своего пиджака, и среди гробового молчания раздался его голос:

— Всего вам самого хорошего! Пусть вам везет!

Я должен был как можно быстрее добраться до двери, чтобы не выдать своих чувств, чтобы унять ком, подкативший к горлу.

И такое бывает.

Около трех лет я в Израиле. За это время действительно я еще не занимался антисоветской пропагандой. Даже эти крупницы воспоминаний, просеиваемые сквозь густое сито антисубъективизма, даже эти записки, читаемые пока несколькими сотрудниками Иерусалимского университета, даже эти главы, дальнейшая судьба которых мне не известна, даже они не антисоветская пропаганда, а еще одно маленькое учебное пособие для моего еврейского народа, ничему не желающему учиться.

Неожиданным препятствием на пути собирания многочисленных документов для ОВИР'а оказалась справка с места работы жены. Неделью мы потеряли из-за этого никому не нужного клочка бумаги. Наконец, когда жена вернулась домой со слезами на глазах, я пошел в ее институт.

Еще одна благодарная тема для советологов — отдел кадров, сектор кадров, кадровики. В Советском Союзе и младенцу известно, кому служат эти кадры.

Предположение о том, что только исключительная деликатность жены мешает ей получить нужную справку, оказалось ошибочным. С утра до конца работы в течение нескольких дней караулил я в приемной директора института. Но, взаимодействуя с работником отдела кадров, замечательно подлой бабой, он умудрялся ускользать от меня. Наконец, не выдержав, я устроил грандиозный скандал, такой, что даже у кадровички на ее гнусной физиономии выступили красные пятна. Справка была получена.

Должен сказать, что в неравной борьбе с советским бюрократическим аппаратом, умноженным на антисемитизм и возведенным в степень безнаказанности, мы с сыном не придерживались шаблона, а импровизировали в зависимости от обстоятельств. Только одна импровизация оказалась заготовкой, сработав три раза.

Чтобы сына не обвинили в туеядстве, ему нужна

была справка из министерства просвещения об откреплении, о том, что министерство не может предоставить ему места работы.

На наше счастье именно в тот день в 'Правде' была опубликована большая статья о мракобесии в Западной Германии, о запрете на профессии, о том, как этой невинной несчастной коммунистке запрещают учительствовать.

С этой газетой я пошел в министерство просвещения. Чиновник довольно высокого ранга пытался спихнуть меня в университет, но я выстоял, доказав, что только он обязан сейчас заниматься этим делом. Короче говоря, либо сейчас же будет подписан приказ о назначении сына учителем физики, либо сегодня же иностранные журналисты получают материал о том, что здесь, в Киеве, на улице Карла Маркса, чиновник такой-то накладывает запрет на профессию даже не по политическим мотивам, что было бы сравнимо с мракобесием в Западной Германии, а только потому, что человек решил уехать в Израиль.

— Как вы понимаете, — говорил я, любовно поглаживая газету 'Правда', — материал этот с соответствующими комментариями с удовольствием будет опубликован и в Западной Германии. Хороший материал. Последует реакция советских властей, мол, такого быть не может в стране советов. А если случилось что-то подобное, то исключительно по вине какого-то сукина сына, подло нарушившего самые гуманные советские законы. И накажут его примерно, демонстрируя Западу свою непорочность. Нравится вам такой вариант?

Наверно, такой вариант, — а его нельзя было считать невероятным, — чиновнику не понравился и он повел меня к заместителю министра сквозь плотную толпу, тщетно мечтающую о приеме. Заместитель министра, как выяснилось, уже читал статью в газете 'Правда'. Человек явно неглупый и циничный он согласился на удобный для него и нужный мне вариант

— выдал справку о том, что, в связи с отсутствием вакантных мест, министерство дает сыну открепление.

Легенда, что будет наказан исполнитель, дабы реабилитировать отдающих приказ, дискредитирующий советское государство, с успехом была повторена. Об этом еще будет рассказано.

Наконец, 19 июля, после почти месячных мытарств по сбору требуемых бумажек, документы были приняты районным отделом ОВИР'а. Оставалось ждать и надеяться.

Участились телефонные звонки с угрозами. Я попросил сына не ездить на велосипеде, так как в одной из телефонных угроз упоминалась большая вероятность дорожных происшествий.

Однажды во время нашей поездки в Одессу сын со смехом вошел в купе. Только что в коридоре какой-то студент, не имея представления об аудитории, рассказал историю моего исключения из партии. В общем все соответствовало действительности, если не считать некоторых деталей для усиления. Мол, происходило это не в райкоме, а в обкоме и сам секретарь обкома после моей речи проникся и пожелал мне счастья. Меня это и рассмешило и огорчило. Ни к чему мне была популярность. Я вовсе не собирался воевать с так называемой советской властью. Мне хотелось побыстрее получить разрешение и уехать. Даже значительно раньше, считая своим долгом агитацию за отъезд в Израиль, я делал это тихо, без лозунгов и демонстраций. Общение с сотнями людей давало возможность индивидуальной агитации. Случалось обжигаться. Улыбающийся и поддакивающий еврей торопился сообщить в КГБ о предмете нашего разговора. Узнавая об этом после очередной "случайной" встречи с "ангелом", я злился на себя, на всех евреев вообще и на каждого еврея в частности. Потом входил в положение стукнувшего на меня: может быть, он просто торопился донести раньше, чем, как он опасался, я донесу на него. Я уговаривал себя быть более осторожным.

Но как? Отказаться от рассказов об Израиле, адресованных и евреям и неевреям? Конечно, я не в силах был сдержать лавину лжи о моей стране. Но хотя бы небольшим камнем оказаться на пути этой лавины. Зато мне доставалось и от жены и от друзей.

Однажды втроем мы сидели в моей комнате — Виктор Некрасов, Илья Гольденфельд и я. С детства Илья знал, что такое советская власть, ненавидел ее, но молчал, почти до самого своего выезда в Израиль не посвящая никого в свои планы. Виктор и я претерпели естественную эволюцию от идейных коммунистов до людей, задыхающихся от этого самого коммунизма. Некрасов мечтал о преобразении любимой им страны, чтобы в ней могли существовать люди. Я мечтал об Израиле. Только что Некрасов обрушился на меня за то, что я агитировал нашего общего знакомого при первой же возможности уехать в Израиль.

— Ну что тебе Израиль? Ну что тебе Египет? Что ты будешь делать без меня?

— Ты прав. Действительно, без тебя мне будет трудно. Чтобы не выслушивать твоих насмешек, не стану ссылаться на Библию.

— Ну вот, снова взялся за свое!

— Ладно, я же сказал, что не буду. Помнишь, в одном из сборников научной фантастики есть неплохой рассказ о космическом корабле, который тысячу лет тому назад покинул Землю. Сменилось сорок поколений людей. Они ничего не знают о конечной цели своего полета. Они вообще ничего не знают. Жизнь на корабле — это и есть естественная жизнь. Они существуют, в меру трудятся, играют в шахматы (оказывается, это нужно для поддержания высокого интеллектуального уровня). Но в каждом поколении есть один посвященный, знающий о цели полета, знающий, что надо делать, когда вокруг корабля перестанут вращаться звезды. Этот один в сороковом поколении впервые за тысячу лет применяет оружие, чтобы убить своего друга, ставшего на его пути, могущего по неведению



помешать людям высадиться на прекрасную планету — цель их полета. Кто знает, может быть, в нашем обреченном на гибель мире Израиль — тот самый корабль, которому предназначено доставить людей на прекрасную планету.

— Брось свои литературные аналогии! Низкопробная фантастика, видишь ли, служит оправданием для дезертирства в Израиль.

— Ладно, Вика, отбросим фантастику и вообще неприятные для писателя литературные аналогии. Только реальность. Тебе, конечно, известно имя академика Маркова?

— Марковские цепи? Помню еще из института.

— Да, но не об этом речь. Марков яростно боролся с черной сотней, ненавидел антисемитов, опекал талантливых еврейских мальчиков с математическими способностями, нелегально приезжавшими из черты оседлости в запретные столицы. Марков — гордость и знамя русской либеральной интеллигенции. И вот академик Марков на смертном одре. Священник, приглашенный родными, пришел причащать его. Уже буквально с того света Марков вдруг прошептал: "Уберите этого попа. Всю жизнь ненавидел попов. И их Иисуса Христа. И вообще всех жидов".

— Не может быть! — из глубины души вырвался возглас Некрасова.

— Может, потому что было.

— Так ты и меня заподозришь в антисемитизме?

— Не знаю.

— Ну, зачем ты так?! — укоризненно сказал Гольденфельд.

— Видишь ли, Вика, мне противно состояние, когда даже своего любимого друга я могу заподозрить в антисемитизме. Я вообще не хочу думать о национальности. В этом плане я хочу быть каплей, слившейся со множеством подобных капель в однородную жидкость. Ты согласен с тем, что это уже не научная фантастика?

В тот день Некрасов очень обиделся на меня. Вероятно, я действительно был жесток. Девяносто девять против одного, что Некрасов не заслуживал обиды. Во всяком случае, я был убежден в том, что он понял мотивы моего стремления уехать.

Случилось так, что Виктор Некрасов на три года раньше меня покинул любимую им родину. Казалось бы, сейчас он безусловно должен все понимать. Надеюсь...

Примерно в то же время мне пришлось столкнуться со случаем удивительного непонимания. В Москве я встретил свою старую приятельницу, занимающую высокий пост в министерстве здравоохранения. Мы сидели в одном из коридоров ее учреждения и предавались воспоминаниям. Не помню, в связи с чем речь коснулась антисемитизма. Русская женщина, она с возмущением рассказала о беседе в ее присутствии двух видных московских профессоров, директоров научно-исследовательских институтов в области медицины. Один спросил другого, нет ли у того способного математика-аналитика, в котором остро нуждается институт. Другой ответил, что есть, но он еврей. Первый посокрушался по поводу того, что талантливые математики-аналитики, как на грех, все евреи, а он уже взял одного на работу. Не может же он засорять свой институт евреями. Второй понимающе кивнул головой. Возмущение моей приятельницы было молчаливым. Ну, что ж...

Потом я сообщил ей о том, что наш общий знакомый уже более полугода ждет разрешения на выезд в Израиль. Это тоже искренне возмутило приятельницу. Как же так? Ведь это предательство! Предательство? По отношению к кому? К директорам институтов, сокрушающихся по поводу того, что не могут взять на работу талантливого еврея? К безусловно порядочной моей приятельнице, повозмущавшейся в платочек? К явным и тайным антисемитам? К партии и правительству? К кому? Приятельница смущенно

ответила:

— Да, я как-то не подумала...

Действительно, не подумала. Не обыватель — доктор медицинских наук. И писатель тоже, кажется, не подумал. Чего же мне следовало ожидать от обывателя, воспитанного действительно лучшей в мире советской пропагандой?

Тем больший отклик вызывали случаи не просто понимания, но даже сочувствия или желания чем-нибудь помочь.

— Ну и жида, — сказал мне простоватый, хотя и начальственный украинец, — заварили все это дерьмо, теперь удирают, а нас оставляют расхлебывать его.

Долго я втолковывал ему, что не жида повинны в этом, что с момента образования Киевской Руси, дерьма здесь не убавлялось, что одним из элементов этого дерьма была и черта оседлости, и процентная норма, и нищета, и бесправие, и погромы, и ритуальные процессы. Нет, не жида повинны в том, от чего они мечтали избавиться. Рассказал я ему о том, как наиболее прозорливые жида еще в конце прошлого века грезили о Палестине, как не пускали их туда турки и англичане. Долго рассказывал об Израиле. Результатом этого рассказа было его предложение:

— Пойдем выпьем.

А потом в ресторане гостиницы "Киев" тост:

— За твой Израиль и за то, чтобы тебе там было хорошо.

Не стану утверждать, но почему-то мне кажется, что когда он будет выпивать с некоторыми другими, он расскажет им, как из Адена перевозили в Израиль иеменских евреев. Пересказ этого места из книги Уриса "Исход" произвел на него потрясающее впечатление. Он долго хохотал, переспрашивая:

— Так и сказали: "пождем еще одну субботу"? — А потом предложил выпить за иеменских евреев.

Русская женщина, с которой мы проработали несколько лет, сама попросила меня рассказать ей о

кибуцах. Я имел возможность убедиться в том, что она отлично усвоила мою почти часовую лекцию. Очень толково она повторила ее нескольким сестрам и санитаркам, слушавшим ее с открытыми ртами (случайно, не замеченный ими, я находился в соседней комнате).

Понимание. Великое дело понимание. Мой бывший пациент, занимающий очень высокий пост, ни о чем со мной не говорил, ни о чем меня не расспрашивал. Он просто предоставил в мое полное распоряжение свою служебную машину. Два дня я разъезжал по Киеву в черной правительственной "Волге", улаживая выездные дела. Его шофер, такой хозяйственный украинский дядька средних лет, дотошно выяснял, как там живут в этом самом Израиле. Мои восторженные рассказы о кибуцах оставили его почему-то равнодушным. Зато описание мошавов, которое, как мы убедились побывав в них, полностью соответствовало прочитанному мною и рассказанному шоферу, доводило его до такого состояния, что мне приходилось напоминать ему о правилах дорожного движения. Его крестьянские инстинкты живо откликались на рассказы о современных птицефабриках, обслуживаемых одной семьей, или о десятках коров, из которых каждая в Советском Союзе могла бы сделать свою доярку Героем социалистического труда.

Но черная правительственная "Волга" с любознательным крестьянином-шофером это уже позже, перед самым отъездом. А пока мы продолжали ожидать разрешения. И трудно подсчитать, чего было больше — косых взглядов, телефонных угроз или крепких пожатий руки, объятий и пожеланий счастья.

Ровно через три месяца после подачи документов, девятнадцатого октября мы получили разрешение на выезд. Мне кажется, что могли бы получить и раньше. Возможно, в какой-то мере я сам установил этот срок. Часто во время телефонных разговоров (которые, естественно, прослушивались в КГБ) мне задавали вопрос, не волнуюсь ли я, не получив еще разрешения.

Я неизменно отвечал, что приемлемый срок — три месяца, что только по истечении этого срока, если, не дай Бог, к этому времени я не получу разрешения, придется начать принимать решительные меры.

В пасмурный октябрьский день всей семьей мы пришли на инструктаж отъезжающих. Знаменитая Тамара Андреевна, увядающая блондинка, такая двухспальная женщина, она же — старший лейтенант милиции, величественно стояла перед евреями, получившими разрешение на выезд, и изрекала, какие подвиги они еще должны совершить, чтобы получить визу. Не знаю, как другие, я чувствовал себя поверженным гладиатором на залитой кровью арене, и надо мной там, в орущем амфитеатре восседала белокурая матрона, милостиво поднявшая вверх большой палец руки. Могла повернуть и вниз. Как страшно рабство! Но еще страшнее, когда в рабство попадает еврей.

Перечисляя наши обязанности, Тамара Андреевна велела уплатить по восемьсот рублей с человека, в том числе — пятьсот рублей за отказ от гражданства. Почему? На каком основании? В каком заявлении или документе я просил лишить меня гражданства? Да еще содрать с меня более чем трехполовиномсячную зарплату врача с десятилетним стажем?

Это вопрос риторический. Я не задал его. Как не задавали вопросов евреи уезжавшие несколько лет тому назад, когда им приходилось непонятно почему платить десятки тысяч рублей за дипломы, хотя известно, что после трех лет работы специалист с лихвой возвращает государству средства, затраченные на его учение.

Мрачный анекдот ходил в ту пору в Советском Союзе: "Какая самая выгодная область животноводства? — Жидоводство". Вероятно, убедившись в том, что этот грабеж не спасет самую процветающую советскую экономику, его тихонечко отменили, тем более, что этой же процветающей экономике могли причинить неприятности разные американцы, не продав, скажем,

пшеницы. Но лишение гражданства, как известно, внутреннее дело государства. И нечего совать в него нос тем самым разным американцам. У меня, правда, еще было гражданство и я еще мог задать вопрос по поводу гражданства. Но не задал.

Зато, когда Тамара Андреевна сказала, что правительственные награды надо сдать в военкомат, я все-таки спросил:

— А на каком основании? Например, в статуте ордена "Отечественная война" сказано, что после смерти награжденного орден остается в семье. А я даже, слава Богу, еще не умер.

— Ордена надо сдать.

— Следовательно, ОВИР отменил Указ Президиума Верховного Совета?

Молчание.

— Тогда я скажу, чтобы отъезжающие узнали правду. Правительственные награды можно взять с собой. На границе их пропустят, если есть орденская книжка, которую не следует сдавать ни в коем случае.

Публично я обличал должностное лицо в преднамеренной лжи. Евреям бы как-то отреагировать. Но старшую лейтенантшу милиции выручила дама, как потом выяснилось, по вызову из Израиля едущая в Америку. Она перебила меня, задав какой-то абсурдно-незначительный вопрос. Бедная дама, как я ей сочувствую! Нелепым вопросом ей пришлось подавить животрепещущий, рвущийся из глубины души вопрос о том, как нелегально вывезти бриллианты, а тут болтают о каких-то дурацких побрякушках, все еще воображая, что они эквивалентны крови и никому ненужному героизму, тем более, что все равно никто не верит в героизм евреев.

Закрутились дни до предела заполненные марафонским бегом. Справки. Справки о справках. Стояние в очередях. Отсутствие должностных лиц. Иногда открытая враждебность. Иногда деланная волокита в ожидании мзды. Иногда казалось, что злоба вызвана

просто чувством зависти к имеющему возможность выбраться отсюда.

Справка о том, что ты не брал напрокат черно-белый телевизор, в одном конце города, справка о том, что не брал напрокат цветной телевизор — в другом. Справки могут быть получены только после того, как ты прошел трудную процедуру выписки паспорта.

Стоп!

Выписать паспорт для израильянина — это заскочить в министерство внутренних дел и заказать паспорт, если у него еще нет, для поездки за границу. Выписать паспорт для жителя СССР — это тяжелая процедура, в результате которой ты лишаешься прописки.

Прописка? Сколько раз, объясняя коренным израильянам значение этого слова, я наблюдал абсолютное непонимание. Вежливая улыбка служила своеобразным сигналом для прекращения бесплодных объяснений.

Прописка — это штамп в паспорте, разрешающий проживать именно в данной квартире данного дома в данном городе. И нигде более. Получить прописку в Москве, Ленинграде, Киеве и других больших городах значительно сложнее (для рядового гражданина), чем в Израиле получить танк в личное пользование.

По счастливой случайности нашей семье удалось два месяца прожить в Киеве без прописки. Возможность этого почти невероятна, но это факт. Случилось так, что буквально за несколько дней до подачи документов на выезд мы получили отличную квартиру в новом доме напротив цирка. Я выписался из старой квартиры, в которой мы продолжали жить до дня отъезда в Израиль, а по новому адресу не прописывался, впервые в жизни ослушавшись настойчивых требований жены. Но невыполнение этих справедливых требований, чреватое серьезными неприятностями, оказалось для нас благом. Кроме того, исключительное отношение в домоуправлении и в телефонных верхах избавило нас от выплаты значительной суммы денег за так называе-

мый ремонт квартиры, от кучи формальностей, и до самой последней минуты у нас в квартире функционировал телефон, что уже почти на грани фантастики.

Зато совершенно неожиданно появились препятствия сверхповышенной трудности. Например, сдача дипломов тещи и сына в Киевский университет, который они имели честь окончить. Это было форменное издевательство. Только уже однажды испытанный метод с угрозой пригласить иностранных журналистов, в конце концов, оказался действенным, и мы получили драгоценные справки о сданных дипломах.

Основная тяжесть по оформлению копий множества документов, стояние в очередях к единственному нотариусу, уполномоченному общаться с отъезжающими, получение всех справок для тещи, последующая поездка в Москву для оформления ее визы и множество других обязанностей легли на плечи сына. Он же был техническим исполнителем операции "доски", так что "доски легли на его плечи" было вовсе не литературным образом, а тяжелой и опасной работой. Но о досках чуть позже.

Забавный случай произошел в районном военкомате, куда я пришел сдавать военный бидет. В третьей части без всяких проволочек приготовили справку, но почему-то не отнесли на подпись военному, как это делалось во всех подобных случаях, а предложили самому зайти за подписью. С военкомом мы всегда были в самых лучших отношениях. Он и сейчас встретил меня весьма радушно, сразу же подписал справку и, крепко пожимая руку, сказал:

— Ну, всего хорошего. Надеюсь, скоро увидимся.

Двусмысленность этой фразы, улыбка на красивом цыганском лице, полковничьи погоны и планки орденов, а главное — место, где это было произнесено, — все обязывало меня отреагировать соответствующим образом.

— Вы помните, полковник, как я стреляю? А ведь там, как вы понимаете, я буду далеко не лучшим. Так



что, надеюсь, мы встретимся, как друзья?

— Да, да, конечно, — продолжал полковник трясти мою руку.

Наконец, в обмен на кучу справок мы получили визы. Предстояло осуществить еще множество дел: поехать в Москву — в министерство иностранных дел, в голландское и австрийское посольства, предстояло заказать таможенный досмотр багажа, а для этого надо было приготовить ящики. О домашних сборах я уже не говорю. Только сжигание моего архива заняло три дня.

(С болью вспоминаю сейчас о своем архиве. Отражение многолетнего труда врача и естествоиспытателя. Рукописи моих друзей поэтов. И еще, и еще, и еще. Зачем я все сжег? Только из-за предупреждения официальных лиц о том, что это не подлежит вывозу? Но ведь так же меня предупредили, что не подлежат вывозу ордена. И я уже знал, что это ложь. Если бы мне было известно, что значительную часть архива можно переправить бандеролями! Вероятно, не все бы дошло, как не все бандероли с книгами дошли. Но, авось, для таможенников и цензоров киевского почтамта бумаги из архива не представляли бы такого соблазна, как ценные книги. Ох, и воруги эти таможенные цензоры!)

В конце октября выяснилось, что в Киеве нет досок для ящиков. Уже здесь, в Израиле я видел ящики с багажом, прибывающим из других городов Советского Союза. Различной величины, из нестандартных досок и даже из фанеры. В Киеве багаж принимали только в стандартных ящиках из двадцатимиллиметровых досок. Нет ничего удивительного в том, что в стране обширнейших в мире лесов внезапно исчезают доски. Случается и не такое. Глупо было бы усматривать в этом антисемитскую направленность. Но то, что, зная о невозможности отправить багаж, сотрудники ОВИР'а издевательски посмеивались и настаивали на отъезде в срок, указанный в визе, было еще одним очередным проявлением юдофобства.

Впервые в жизни я согласился дать взятку. Но лиха беда начало. Под холодным хлещущим ливнем сын поехал в кузове нелегально нанятого грузовика за несколько десятков километров от Киева получать нелегально приобретенные доски. Под тем же проливным дождем с помощью товарища сын нагрузил и разгрузил три складометра драгоценных досок. Еще за одну взятку сделали ящики (то, что взятку приняли, было большим одолжением, потому что приближалось славное шестидесятилетие Октябрьской революции, то есть четыре дня не просто регулярного, а беспробудного пьянства; как известно, в таком состоянии победивший пролетариат отказывается работать за обычную плату, пусть даже в двойном размере). Как бы там ни было, но вечером девятого ноября, когда мы, дав еще одну взятку, привезли багаж в пакгауз станции Киев-товарный, там уже стояли четыре обычных деревянных ящика. Но только для непосвященных — обычных и деревянных. Мы-то знали, что они эквивалентны по меньшей мере серебряным.

Таможенный досмотр должен был начаться на следующий день в восемь часов утра. Перебирая в уме шеренги современных писателей, я не нахожу никого, кому по плечу эта тема. Только микроскопическая детализация Золя, умноженная на психологические изыскания Достоевского, могла бы дать некоторое представление о киевской таможне. Возможно, сотни вырвавшихся евреев создадут огромную мозаику, пусть не произведение искусства, а просто документальную фотографию. Единственный камешек в эту мозаику — мое даже не описание, а какие-то обрывки кошмарного сна.

Мрачным дождливым утром, скупо освещаемая грязными фонарями, подвезла нас случайно пойманная машина (такси мы тщетно прождали около получаса) к станции Киев-товарный, утопающей в жирной липкой грязи. Пакгауз открыли с опозданием в двадцать минут. Завалился жлобоватого вида таможенник и пра-

порщик лет тридцати—сорока (странная неопределенность) в форме пограничника с университетским значком на лацкане кителя. Никаких отличительных признаков, кроме невысокого роста и неприятного лица. С первой минуты меня не покидало ощущение, что я его уже где-то видел.

Багаж был невелик. Мы почти не взяли мебели. Тем не менее, досмотр продолжался два дня. У нас с сыном сложилось впечатление, что ищут что-то определенное, во всяком случае, не драгоценности и не валюту. Особенно тщательно просматривались книги, граммофонные пластинки и слайды. Прапорщик знал свое дело. Просматривая фотографии, несколько раз он обращался ко мне с вопросом, не ошибся ли он, действительно ли это... И он безошибочно называл человека, известного его ведомству. Магнитофонные записи он прослушивал в небольшой каморке, отгороженной от пакагауза. Вернее, там находился магнитофон, а прапорщик пока в безопасном отдалении от меня внимательно просматривал слайды. С интересом я следил за выражением его лица (кого же он мне напоминает? Какое-то неприятные воспоминания связаны с его обликом.), когда прокручивалась пленка с записями Булата Окуджавы. "Песенка о московском метро". Прапорщик дослушал ее до конца. Быстро направился в каморку. Абсолютно точно прокрутил пленку назад до начала песни. Снова прослушал ее. Снова абсолютно точно прокрутил пленку до начала песни и в третий раз прослушал ее. Не проронив ни звука, вышел из каморки и продолжал свое дело. Каждому свое.

Жлобоватый таможенник, хотя знаки отличия его были эквивалентны майору, обратился за консультацией к намного младшему по званию прапорщику, который явно был начальником в этом тандеме. Он-то и стал возмущенно отчитывать меня по поводу двух шариковых ручек, обнаруженных в моей коллекции. Действительно, как я, интеллигентный человек, мог допустить, чтобы в коллекции находилась такая амо-

ральная продукция! Глазок в торце ручки показывал полуобнаженных девочек, обычную безобидную рекламу итальянской фирмы бюстгальтеров или купальников. Подумать только, какой разврат!

Даже не чувство юмора, а воспоминания заставили меня рассмеяться и предложить прапорщику не просто конфисковать бесовские ручки, а презентовать их по его усмотрению любому начальству. Девушки в купальниках! Могут ли позволить себе такое зрелище пуритане-коммунисты? А вспомнил я, что единственный на всю Украину экземпляр журнала "Плейбой" получал первый секретарь ЦК. Это вполне естественно. Для борьбы с капиталистической опасностью следует знать, как разлагается эта опасность. Вероятно, для этой же цели нужны подпольные бордели, оргии в Конче-Заспе и прочие учебные пособия для партийной и советской верхушки.

Но напрочь я лишился чувства юмора, когда дело коснулось оттисков моих научных работ. Один за другим прапорщик возвращал мне, отказываясь их пропустить. Я вышел из себя и стал настаивать на своем праве. Потом грузчики сказали мне, что подобного не случалось в стенах пакгауза. Попросить, умолять, но спорить! Да еще не по поводу, скажем, хрустальных ваз, а каких-то бумажек! Нет, такого еще не бывало. Возможно, это так, потому что прапорщик остолбенел. Несколько оттисков он все же не пропустил, ссылаясь на то, что у меня нет журналов, в которых опубликованы соответствующие статьи. Затем я затеял спор с таможенником по поводу микроскопа. Здесь он вынужден был отступить, зато отомстил, не пропустив электромагнит, аппарат, на котором я поставил большинство лабораторных и клинических экспериментов.

Постепенно я стал терять не только чувство юмора, но даже элементарную осторожность, так необходимую уезжающему еврею. Промозглая сырость пакгауза, вымогательства грузчиков (а попробуй не дать! Получишь не багаж, а осколки и щепки. После взяток, пре-

вышающих полугодичную зарплату врача, в багаже обнаружилось немало лома), споры с таможенниками, предчувствие завтрашнего продолжения этой унижительной процедуры, чувство голода, даже заскок в мозгу по поводу прапорщика, который кого-то напоминает, — все это к концу дня довело меня до белого колена. (Сейчас, когда я пишу эти строки, я вспомнил, кого напоминал прапорщик. Как же я тогда не вспомнил? Ведь это потрясающее подобие! Был у нас в училище старшина роты. Зверь! Вкатывая курсанту садистское наказание за пустяковый проступок, он долго и нудно отчитывал его, шипел, что плохо заправленная койка подобна трусости на фронте и даже измене родине. Осенью 1944 года он попал в наш батальон, впервые за всю войну очутился на фронте. В первом же бою проявилась его чудовищная трусость. Он умудрился попасть в госпиталь, симулировав контузию. Ничего не могу сказать по поводу смелости или трусости прапорщика. В пакгаузе не было военных действий. Но внешнее подобие — потрясающее.)

Уже вечером, с опозданием на два часа мы с сыном подъехали к ОВИР'у, где я должен был встретиться с женой. Предстояло на неделю продлить визу, чтобы выехать вместе с тещей, отстававшей от нас ровно на эту самую неделю.

Еще у Владимирского собора, за полтора квартала от ОВИР'а мы заметили необычное для этого времени скопление людей. Уже после описываемых сейчас событий, мы узнали, что происходило. В течение полутора недель ОВИР не работал. Сперва затеяли ремонт. Потом были праздники. Несколько сот евреев, не имевших возможности попасть в ОВИР в пропущенные дни приема, явились сегодня. Случайно или умышленно, — я этого не знаю, — пришли и все киевские отказники. От улицы Франко до Тимофеевской тротуар был непроходим для прохожих. Это была какая-то стихийная демонстрация евреев. В толпе я разыскал жену. Боже мой, какой у нее был вид! Незадолго до этого она

перенесла тяжелую рино-ларингологическую операцию. А сейчас, в таком состоянии, в легкой курточке (она рассчитывала, что, выйдя из троллейбуса, попадет в закрытое помещение) более трех часов коченела на мокром ветру. Милиция не пропускала в ОВИР. Там уже скопилась масса народу. Теща была внутри около двух часов. Ее вызвали для получения визы.

Состояние жены оказалось детонатором, осуществившим взрыв. Можно представить себе, как я выглядел, если не только толпа, но даже милиционеры раступились передо мной и дали возможность почти беспрепятственно проникнуть внутрь ОВИР'а.

Помещение напоминало центральную железнодорожную кассу в период летних отпусков. К Тамаре Андреевне входили пачками по десять человек. Поток регулировала ее секретарша — худосочная увядающая дева с автографом мастурбации на изможденном лице. Не успел я появиться в открытой двери, как от стола меня остановил окрик-выстрел Тамары Андреевны:

— Деген, а вы зачем здесь?

— Как мы и договорились, я принес марки для продления визы.

— И речи об этом быть не может! Можете подождать свою тещу в Вене.

— Тамара Андреевна, это мое дело, где мне ждать тещу, в Вене, в Ленинграде или во Владивостоке. А ваше дело и ваша обязанность продлить визы.

— Ничего я вам не продлю. Выйдите сейчас же!

Секретарша мгновенно приняла команду к исполнению. Всей своей массой (около сорока килограммов), при помощи соломинок-рук и груди, напоминающей лист тонкой фанеры, она обрушилась на меня, пытаясь из проема двери выжать в приемную, где общественность вслух еще не выразила своего отношения к происходящему.

Зато в кабинете немедленно нашелся молодой человек из тех самых евреев, которые считают, что ни в коем случае не следует оказывать сопротивление избива-

ющим тебя гоям. Возможно, побои станут сладостнее. Во всяком случае, если ты продемонстрируешь свою лояльность избивающим, тебя лично ожидают если не райские кущи в будущем, то милость гоев в ближайшее время.

Спасибо тебе, Господи, что ты отправил этого слизняка в Америку. Мне очень не хочется в этом признаться, но ведь тебе, Великий Боже, известно, что такого добра в Израиле и без него хватает. Ты ведь знаешь, что галутская психология еще прочно гнездится в некоторых израильтянах и они с опасливой оглядкой втягивают головы в плечи, ожидая реакции окружающего нас враждебного или, в лучшем случае, безразличного мира на пусть даже справедливый поступок Израиля. Как будто этим поступком объясняется аморальная реакция аморального мира. Слава тебе, Господи, что этим говнюком ты не пополнил легиона наших собственных накладывающих в штаны. Но тогда, в четверг, 10 ноября 1977 года он еще был в Киеве с израильской визой, полученной благодаря вызову из Израиля. Тогда в кабинете он единственный взялся помочь тощей мастурбантке:

— Вас же просят выйти. Зачем же вы мешаете работать?

Я оставался внешне спокойным, общаясь с Тамарой Андреевной. Я преодолевал брезгливое поташнивание от прикосновений фанерной груди. Но тут я остервенел:

— Ах ты ничтожество! Ах ты раболепное дерьмо! Да ведь это такие, как ты, усыпляли несчастных евреев, гонимых на смерть в печи, в душегубки, в Бабий Яр! Такие, как ты, мешали им сопротивляться, чтобы хоть одного фашиста уволочь с собой на тот свет! Евреи, как вам не стыдно терпеть издевательство над собой? Кто разрешил ей устанавливать нам несколько несчастных дней от момента разрешения до отъезда? Неужели вы не видите, что нас загоняют в своеобразное временное гетто? — Последние слова уже адресовались людям

в приемной?

Я не диссидент и не активист алии. Я вовсе не соби-  
рался публично обличать и призывать. Так уж получи-  
лось.

Тут появился старшина милиции:

— Чего вы тут нарушаете? Дома можете кричать на  
свою жену!

Мало того, что он оказался на моем пути в такую  
минуту, ему еще следовало упоминать жену, состояние  
которой в значительной мере определило эту минуту.

— Ах ты быдло! Тебе кто разрешил так разговари-  
вать со мной? Что, надоело здесь, в тепле даром жрать  
хлеб? Снова в колхоз захотелось? Так я сейчас позво-  
ню (я назвал фамилию министра внутренних дел) и  
завтра же ты будешь чистить хлев!

Старшина обомлел. Его примитивная физиономия  
стала воплощением растерянности. Все его воспитание  
заклучалось в том, что кричать может только более  
сильный. Значит?.. Но ведь это уезжающий жид? А кто  
их знает. Ведь среди них тоже есть люди из... И старши-  
на, поджав хвост, вышел из приемной.

За всем происходящим с явным удовольствием  
наблюдал один из видных киевских отказников, удоб-  
но примостившись на стуле в углу возле двери. Другой  
распахнул окно, чтобы приобщить бурлящую улицу к  
происходящему в ОВИР'е.

Тут из кабинета явно преждевременно вышла оче-  
редная пачка евреев, в том числе и облаянный мною  
кандидат в граждане США. Их попросили оставить  
кабинет, так как из внутренней двери там появился  
начальник киевского ОВИР'а подполковник милиции  
Сифоров. А еще через несколько минут ко мне подо-  
шла анемичная секретарша и, заикаясь, пригласила  
войти в кабинет.

Тамара Андреевна сидела с разбухшими от слез гла-  
зами. По комнате нервно вышагивал невысокий муж-  
чина в сером гражданском костюме.

— Вы и есть знаменитый доктор Деген?



Не зная, что он имел в виду, произнося "знаменитый", я ответил ему в тон:

— Я и есть. А вы, вероятно, тот самый известный Сифоров?

Он несколько растерялся от такого ответа, но тут же собрался.

— Что это за митинг вы устроили? Может быть, вам нужна еще трибуна?

— Спасибо. Если понадобится, то через десять минут она появится. И аудитория будет соответствующей — иностранные журналисты, которым я смогу поведать много забавных вещей. Например, рассказать, как ваше начальство даже сейчас пользуется моими услугами, в то время, когда рядовые советские граждане уже около четырех месяцев не могут ко мне попасть. Рассказать, как в киевском ОВИР'е грубо нарушаются советские законы, в том числе, Указ Президиума Верховного Совета о том, что выездная виза действительна в течение года. Конечно, я понимаю, что не по своей инициативе вы нарушаете советские законы. Но когда большому начальству придется ответить на злобные выпады продажной капиталистической печати, очень удобно будет свалить все на какого-то сукина сына Сифорова, который вообще неизвестно чем занимается в ОВИР'е. (Произнося это, я не упрекал себя в эпитонстве, потому что хорошо работающим методом не следует пренебрегать. Кроме того, "неизвестно чем занимается" прозвучало двусмысленно и явно пришлось не по вкусу начальнику.)

— Тамара Андреевна, возьмите визы для продления.

— Хорошо, — сказала она, — приходите во вторник.

— Об этом не может быть и речи. В воскресенье сын едет в Москву с визой бабушки.

— Тамара Андреевна, сделайте к субботе.

— Но суббота неприемный день.

— Сделайте! — с раздражением повторил серый подполковник.

В субботу Тамара Андреевна встретила меня в кори-

доре. Ее можно было мазать на хлеб и прикладывать к ране вместо пластыря. Чтобы не затруднять меня парой лишних шагов, она вынесла продленные визы в коридор.

Пойди рассчитай, когда тебе дадут пятнадцать суток за хулиганство, а когда пожалуют, как персону.

Мои друзья, приехавшие в Израиль на два года позже нас, вообще считают, что наш отъезд — непрерывная цепь везений, своеобразное продолжение моей военной биографии. Кто его знает. Бессмысленно что-либо прогнозировать в этой стране. Даже в самых тривиальных случаях ты вдруг натыкаешься не просто на неожиданное, но даже на невозможное.

За два дня до нашего отъезда пришел попрощаться со мной хозяин черной "Волги". Уже давно мне было ясно, что, как и все, занимающие места на советском Олимпе, он знал, "что почем и что к чему". И вдруг...

— Вот вам на память от меня. — Он подарил мне изящный брелок — компас в виде земного шара. — Вот эта красная точка показывает север. Смотрите на нее там, в Израиле, и знайте, что в этой точке у вас остался верный друг. И вообще, як кажуть у нас, у запорижських казаков, хай тобі щастить. — Он перешел на ты и на смесь украинского с русским. — И взагали, щось не в порядке в нашей системе, якщо такие, как ты, покидают нас.

Вот это окончание оказалось совершенно неожиданным для меня. Неужели не все и не до конца в советской верхушке пропитаны цинизмом? Или это потрясающий эффект веры в собственную ложь?

Но даже парадоксы воспринимались уже только периферическим зрением. Водоворот предотъездных забот, прощание с сотнями людей, сплошным потоком входящих и выходящих в незапираемые двери, тревога за остающихся друзей. Только бы не скомпрометировать их причастность к нам, к отъезжающим. Прощание дома — последнее прощание, как перед отлетом в другую Галактику. Они не придут на вокзал, чтобы не

попасть в объективы, пополняющие досье в известном комитете.

Но и без них на вокзале оказалось несколько сот провожающих. В атмосфере любви, доброжелательности и — иногда — доброй зависти к нам, меня не покидало беспокойство о чемоданах. Нет, я не боялся, что в вокзальной суете могут что-нибудь стащить. Наоборот, я боялся, что среди наших вещей появится кое-что нам не принадлежащее. Поэтому понятной должна быть моя, казалось бы неадекватная реакция на возникший в нашем купе большой баул с трапецевидными боками. Теща вышла из себя после четвертого или пятого вопроса, не ей ли принадлежит этот баул. Получив возмущенный вразумительный и окончательный ответ, что она видит этот предмет впервые, я тут же вышвырнул баул в коридор, и без того выглядевший весьма живописно, так как еще в пяти купе ехали семьи евреев с израильскими визами.

Я бы не выразился так вычурно, если бы эти семьи из Вены не поехали дальше, в Италию. В этот момент в вагон поднялась жена. Увидев мой яростный поединок с баулом, она рассмеялась и убедила меня в том, что это наша собственность — складной стол, неосуществимая мечта многих киевлян; только сейчас его подарил один из провожающих пациентов, не сказавший мне об этом из опасения, что подарок будет отвергнут.

Проводы. Проводы по пути до Чопа. Проводы в самом Чопе. Проводы с надеждой на встречу и расставание навсегда...

Чопу надо было бы посвятить отдельную главу.

Когда-то путника на большой дороге подстерегали разбойники. Цивилизованные страны очистили дороги от разбойников и морские пути от пиратов. Но в ноябре 1977 года в центре Европы мы снова столкнулись с этой проблемой. Не знаю, с благословения ли советских и чехословацких властей, но безусловно при их молчаливом попустительстве на современной большой

дороге евреев подстерегают современные разбойники — носильщики, проводники вагонов и прочая железнодорожная братия и даже "непорочные" таможенники. Нам еще повезло. Нас грабили обычно. Над нами не издевались пограничники. А ведь и такое бывает.

Уже после нас приехала большая семья, подвергшаяся последней ласке своей географической родины. После таможенного досмотра (он начинается за два часа до отхода поезда), в бешеной спешке, буквально за минуту до отправления, со стариками и детьми, с множеством чемоданов и узлов, естественном при таком количестве людей, семья погрузилась в вагон. Все это происходило ночью. Измученные старики и женщины тут же переоделись ко сну. Счастливые, что все испытания уже позади, они позволили себе расслабиться. Откуда им было знать, что поезд останавливается еще на самой границе с Чехословакией? В вагон вошли капитан и два пограничника. Капитан потребовал предъявить визы. Надо ли объяснять, что без виз невозможно попасть не только в вагон, не только на перрон, но даже в таможенный зал. Пришло ли им в голову, что может быть еще одна проверка и визы должны быть на поверхности? В дикой спешке, как на грех, их куда-то заткнули, и сейчас вся семья, понукаемая грубыми окриками капитана, лихорадочно искала визы.

— А ну-ка, со всеми бебихами марш из вагона!

— Как вы с нами разговариваете, — сказала молодая женщина, — ведь мы же люди.

— Какие вы люди? Вы — жида!

— Ну, если так, вот у вас автоматы, следуйте примеру немецких фашистов.

— Придет время — и это будет.

"И это будет", — сказал советский капитан-пограничник, родившийся уже после войны, надо полагать, верный член КПСС.

Полураздетых людей выбросили в ночь, в холодный дождь, в пустынное место вдали от станции. Визы, ко-

нечно, нашлись. А после — мучительные сутки в Чопе. Без копейки денег. (Покидающий пределы СССР не имеет права иметь при себе даже разменной советской монеты. Еще одна весьма интересная тема для экономистов и социологов.) Повторный таможенный досмотр. Повторная пытка посадки.

Берегите, евреи, израильские визы! Капитан-пограничник предупреждает вас: "И это будет!" А уж если так говорит верный страж страны с самой демократической конституцией, гарантирующей даже евреям право... и т.д., то что говорить о всяких загнивающих демократиях, которые по причине очевидности того, что человек есть человек, вообще ничего не гарантируют? Что, евреи, я говорю абсурдные вещи? Но ведь вы и раньше так отвечали предупреждающим вас. Глупый вы народ, евреи. Ничему вас нельзя научить. И все-таки — берегите израильские визы!

Нет, в Чопе нам уже не угрожали. Отношение было исключительно уважительным. Старший лейтенант-пограничник бережно сверял номера орденов на моей гимнастерке с номерами, вписанными в орденскую книжку. А узнав, что я закончил войну всего лишь в звании лейтенанта, проникся еще большим почтением.

Таможенники великодушно пропустили акварели жены, задержанные киевской таможей, и несколько моих рисунков, которые, даже не будучи искусствоведом, легко было отличить, по меньшей мере от Рембрандта.

Не обошлось даже без происшествия, давшего нам возможность вдоволь повеселиться, конечно, уже после досмотра. Теща, человек потрясающей честности, вписала в таможенную декларацию золотую коронку. Досматривавшая ее огромная таможенница, этакое бабище, возвышающееся над всеми мужчинами в зале, долго тупо всматривалась в декларацию.

— Что это еще за золотая корова? — громоподобным голосом спросила она.

— Видите ли, двадцать лет тому назад у меня сняли коронку.

— Что это за золотая корова или корона, я спрашиваю?

— Я же вам объясняю, это коронка зуба.

— Покажите!

Коронка, завернутая в тряпочку, на беду, затерялась где-то в недрах чемодана.

— Боже мой, где же она! — уже на пределе шептала теща.

Догадавшись, что здесь не содержатся ценности ни Эрмитажа, ни алмазного фонда Кремля, таможенница рукой подала начальственный жест убрать чемодан. И тут теща испустила торжествующий крик и радостно показала таможеннице искаженную коронку зуба. И без того не блистающее красотой лицо, презрительной гримасой исказилось в облик Квазимодо.

— Убирайтесь отсюда! — гаркнула она так, что вздрогнул пограничник у выхода из зала.

Еще один повод посмеяться появился у нас уже в Вене. Посмеяться?

В Чопе я настоятельно посоветовал сыну продолжать советскую линию поведения, то есть, продолжать держать язык за зубами. Хотя он уже не самый счастливый на земле человек, то есть, не гражданин СССР, солнце сталинской, простите, брежневской конституции, гарантирующей свободу слова, все еще освещает и согревает его. Попросил продолжить сжимание зубов и на территории братской Чехословакии, так как, хотя я не знаком с конституцией этой страны, представление о гарантиях демократии, дарованных ей, получил еще 21 августа 1968 года.

Зато, как только мы пересекли границу Австрии, не имея сведений о том, есть ли здесь вообще конституция, я разрешил сыну разжать зубы и наконец-то дать волю застоявшемуся языку, разумеется, не употребляя нецензурных выражений (все-таки — университетский диплом), не напоминать австрийцам в их доме

о фашистском прошлом и не называть Крайского жидовской мордой (правила хорошего тона).

Наиболее подвижный язык, как известно, нужен министру пропаганды и министру иностранных дел. Сын взвалил на себя функцию обоих (в масштабе семьи). Что касается первой должности, тогда мне казалось, что сын потерпел фиаско, агитируя подавляющее большинство пассажиров нашего вагона ехать в Израиль, а не в новый галут. Но спустя несколько месяцев в Кфар-Сабе мы встретили единственного симпатичного представителя большинства. Он признался, что в Вене долго размышлял над услышанным в пути и, признав наши аргументы справедливыми, приехал в Израиль. Что касается должности министра иностранных дел...

Поезд подошел к перрону венского вокзала. В купе вошла миловидная представительница Сохнута.

— Здесь одна семья?

— Нет, — ответил министр, — здесь две семьи и едем мы в разных направлениях.

— Мы семьи не разделяем, — решительно заявила представительница.

— Так, — сын продолжал свою первую министерскую речь, и слова его грохотали, как в мороз стальные болванки, — здесь две отдельные семьи. Вот она, — он указал на бабушку, — одна семья, а вот мы — вторая. И он, — кивок в мою сторону, — глава этой семьи. Мы едем в Израиль. Она едет в Америку.

— Понятно, — упавшим голосом пробормотала миловидная представительница, — вы едете в Америку, она едет в Израиль...

— Повторяю, — прогремел металл, — мы едем в Израиль, она едет в Америку.

На лице остолбеневшей представительницы из десяти явно различимых чувств наиболее яркими были недоверие и недоумение. Уже потом, за чашкой кофе симпатичная Ева оправдывалась:

— Понимаете, ваше сообщение просто ошеломило

меня своей невероятностью. Обычно, молодые едут в Америку, а своих беспомощных престарелых родителей отправляют в Израиль. К этому мы уже привыкли. А тут вдруг... Нет, я до сих пор не могу прийти в себя!

Так мы познакомились с еще одной чертой благородных евреев, в знак благодарности к стране, извлекшей их на свободу, грабящих ее бюджет, бюджет Израиля, вынужденного для своего существования тратить на оборону треть национального дохода. И кто знает, не окажется ли эта страна единственным убежищем если не для них самих, то для их потомков, потому что не только в Чоле должностное лицо, при исполнении служебных обязанностей, сможет угрожающе предупредить: "И это будет!"

Три дня в Вене. Три дня в лагере, взаперти, огороженные глухими стенами. "Ахтунг!" — окрик часового у ворот, когда подъезжает очередной автобус. Ассоциации не из приятных. И, тем не менее, ощущение раскованности, свободы, сброшенных оков. А по телевидению передача приезда Садата в Иерусалим. И надежда на мир. И желание как можно быстрее очутиться на своей земле, истосковавшей по миру.

Может быть, когда-нибудь мне удастся рассказать о первых встречах с израильянами в Вене, о бывшем сотруднике израильского посольства в Москве Аврааме Коэне, к которому когда-то на птичьей выставке в Киеве я просто хотел прикоснуться, как к частице моего Израиля, и которого сейчас имею честь и счастье видеть в числе моих друзей, о замечательных мальчиках из службы безопасности, самоотверженно, без пафоса, даже как-то весело делающих свое опасное дело.

В аэропорту нас ждал "Боинг" израильской компании "ЭЛ-АЛ". Латинские буквы перемежались с уже не запрещенными буквами еврейского алфавита, и на хвостовом оперении л е г а л ь н о красовался бело-голубой флаг Израиля с голубым маген Давид — двумя скрещенными равносторонними треугольниками,



символом мудрости, символом союза с Богом. Не желтая звезда презрения, не дополнение к крючковатому носу на карикатурах геббельсовских и советских изданий. Понимаете ли вы, что мог почувствовать еврей, несколько дней тому назад на Красноармейской улице в Киеве попросившийся со знаменитой мемориальной доской?

Знаменитая мемориальная доска. Какое странное сочетание слов. Какой неточный эпитет. В одно прекрасное утро мемориальная доска из белого мрамора оставила прохожих. Золотыми буквами на украинском языке было написано: "В этом доме... проживал выдающийся еврейский писатель Шолом Алейхем (Рабинович)". "Вы видели?" — возбужденно обсуждали эту новость евреи. — "Слово еврейский уже не под запретом, а фамилия Рабинович — не только в антисемитском анекдоте!" Глупые надеющиеся евреи! На следующий день и тоже утром, взамен этой появилась новая мемориальная доска. И тоже на белом мраморе, и тоже на украинском языке было высечено: "В этом доме... проживал писатель Шолом Алейхем". Вот так. Порочную мемориальную доску сменили дозволенной.

А тут еврейские буквы, и флаг еврейского государства, и голубой маген Давид. И на трапе у входа в самолет стоит еврейский парень — одна рука за бортом куртки, другая — в кармане, во всей фигуре сила и готовность, и взгляд, как рентгеновский контроль, как детектор у выхода из здания аэровокзала. И стоит он на холодном ветру, чтобы, если понадобится, защитить меня, пока еще безоружного.

А в самолете такие родные стюардессы и стюарды. И обычный эл-аловский ужин кажется трапезой небожителей. Да так оно и есть: мы в небе, а качество блюд выше всех рекламных восторгов.

Все чаще взгляд на часы. И вот щелкнуло радио. Что-то сообщили на еще абсолютно иностранном иврите. А затем по-английски: "Наш самолет пересек границу воздушного пространства Израиля". И музыка —

”Эвейну шалом алейхем”. И все пассажиры, аккомпанируя хлопками ладоней, подхватили знакомую ивритскую мелодию. В глазах людей слезы. Я посмотрел на жену и сына. Еще несколько дней тому назад, когда сын наигрывал на пианино эту мелодию, жена испуганно просила его прекратить, чтобы, не дай Бог, не услышали соседи. А как ей было не бояться? Многие ошибочно считали эту песню гимном Израиля. Но опасно, даже если не гимн. Английскому фигуристу на льду не дали возможности выступить в Москве в показательной программе только потому, что его танец исполнялся под музыку ивритской песни ”Хава нагила”. Ивритской — табу! А сейчас жена радостно хлопала в ладони и пела еще недавно запрещенную песню.

Говорят, что в наше время не бывает чудес. Все было чудом...

”Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства”.

Впервые я прочитал эту фразу ровно 21 год тому назад. 21 — мое счастливое число. Но 21 год! Если бы 21 неделя, ну, пусть 21 месяц! Как поздно приходится все начинать сначала. Но все равно, слава тебе, Господь, Бог мой, который вывел меня из дома рабства!

А сын мой моложе меня, того, впервые прочитавшего эту фразу.

Внизу заискрилась действительно золотая россыпь огней Тель-Авива.

Здравствуй, Израиль!

*Сентябрь 1980 г.  
Рамат-Ган.*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Еще не осознавший себя евреем . . . . .	3
”Еврей не воевали” . . . . .	17
Несколько слов о мужестве . . . . .	41
Ступени восхождения . . . . .	56
Прочность запрограммированности . . . . .	76
Середина атомного века . . . . .	96
Канун и начало эпохи позднего реабилитанса . . . . .	120
Приглашение на должность . . . . .	143
В сравнении с 1913-м годом . . . . .	168
”Израильский агрессор” . . . . .	184
Правильные выводы . . . . .	210



Майор Ц.Л. Куников. Осень 1942 года.

Могила Ц.Л. Куникова в Новороссийске.



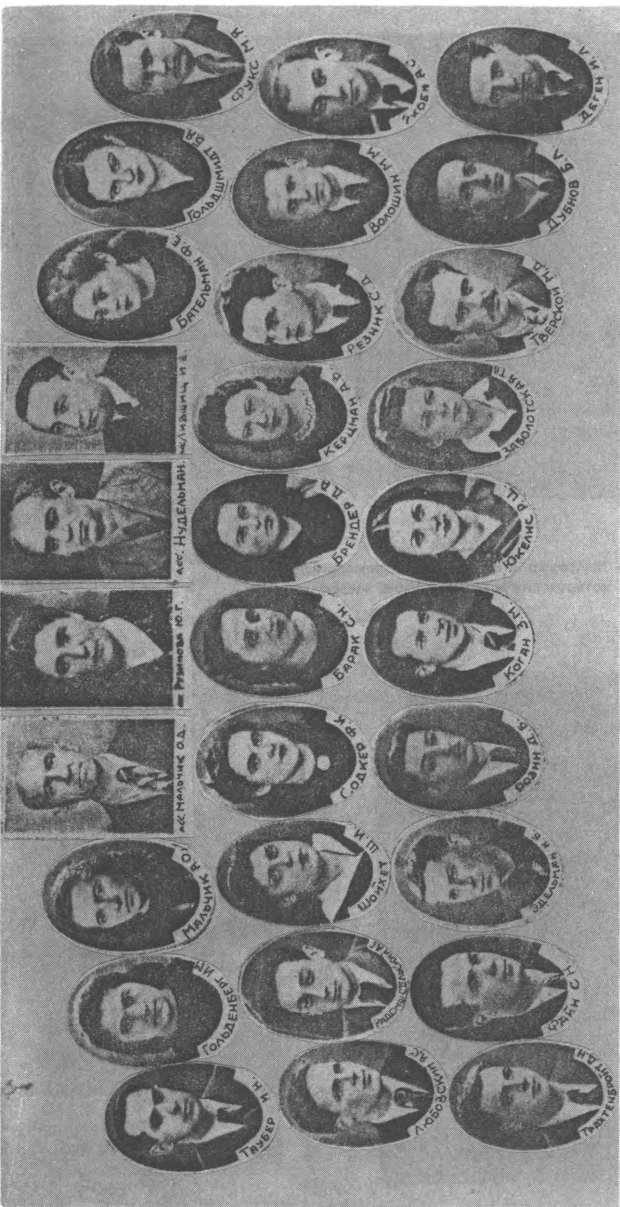
Лето 1944 года. 3-й Белорусский фронт.



Кустанай. По пути в больницу.



Люся, стипендия которой  
единственный источник  
существования семьи. 1953 год.

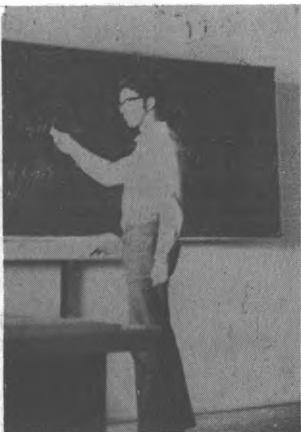


Однокурники и учителя, покинувшие Советский Союз.



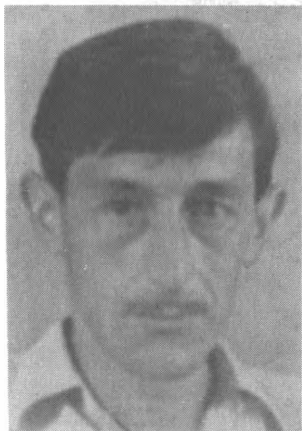
Супермамочке и суперпапе  
Мне Наташе и Денису от  
А. Фрумина.

8/1/56.



Сын Юра. 1972 год

Мой учитель профессор А.Е. Фрумина (единственная фотография, которую она подарила в своей жизни).



Дорогой  
Яне Денису -  
зуб всегда  
тебе болю,  
Хорошо!  
Ваня

В. Некрасов, 1966 год.



Член. кор. Академии медицинских наук Ф. Р. Богданов.



Наша прощальная встреча с доктором М. Тверским перед его отъездом в Израиль.



Член. кор. Академии наук УССР

М. Деген, принимавший экзамен у будущего ректора, и академик Л. Пандау.



Справа налево. Доктор Б. Дубнов, профессор С. Резник, доктор М. Тверской и доктор З. Коган (фотография прислана из Израиля автору в Советский Союз).